

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Валентин Яковенко
Джонатан Свифт. Его жизнь и литературная деятельность

Биографический очерк В. И. Яковенко

С портретом Свифта, гравированным в Лейпциге Геданом



Введение

***Обычные суждения о Свифте. – Портрет Свифта. – Пылкость и рассудительность. – Надгробная надпись на его могиле. – Saeva indignatio и virilis libertas как основные черты его характера, деятельности, произведений*.**

Кто не читал, по крайней мере в дни детства и юности, «Путешествий Гулливера» и не сохранил о них воспоминаний как о крайне забавной и увеселительной книге, а об авторе ее, Джонатане Свифте, как об остроумном рассказчике? Знаем мы еще, хотя крайне смутно и неопределенно, что Джонатан Свифт был превеликий мизантроп, человеконенавистник, что он загубил жизнь двух женщин, что он отличался непостоянством в своих политических убеждениях и переходил на сторону тех, кто в данный момент стоял у власти, и так далее. Действительно, вокруг личности Джонатана Свифта накопилась такая масса всяческих вероятных и невероятных рассказов, эпизодов, историй, что английские биографы до сих пор, то есть спустя почти полтораста лет после смерти его, принуждены входить в детальное рассмотрение и опровержение разных сомнительного сорта выводов, на которые так падка всякая ограниченность по отношению к истинному величию. Речь идет, собственно, не столько о самих фактах, сколько о том или ином освещении и сопоставлении их. Если и в Англии, на родине, жизнь гениального сатирика, его характер, внутренние мотивы его деятельности получают разное толкование и освещение, то мы ограничиваемся или полным неведением, или кое-какими обрывками и принимаем с легкой верой всякие рассказы о бессердечности, измене и так далее. В предлагаемой биографии, конечно, не место входить в рассмотрение и оценку различных аргументов, приводимых в пользу того или другого мнения. Оставляя все это в стороне, я обрисую жизнь, характер и деятельность Джонатана Свифта, как они представляются на основании позднейших английских работ, заслуживающих наибольшего доверия. Напомню только, что если великий человек, – будь то вдохновенный поэт, или творец новых идей, или беспощадный критик отжившего и борец за лучшее будущее, – не лишен многих людских слабостей и недостатков, то не ради этих последних мы изучаем жизнь его. Все они теряются в безбрежном море мыслей и дел, порождаемых на благо человечества истинным гением. А что «золотая середина» со своим пошлым мерилом умеренности и

аккуратности не может успокоиться, не измерив в точности все эти слабости и недостатки, – так ведь иначе и быть не может: ей не под стать безбрежное море, и она находит больше поучительного для себя в грязной луже.

Всмотритесь в портрет Свифта в пору его полного развития сил. Необычайная энергия светится в каждой черте его правильного, красивого лица, энергия нервная, пронизывающая, не знающая ни минуты покоя. Изгиб губ, кривизна линий, очерчивающих подбородок и ноздри, проведены резко, точно высечены из мрамора; проницательные голубые глаза, высматривающие из-под густых бровей, производили в особенности сильное впечатление на современников: выражение их менялось как бы по произволу и становилось то насмешливым и мягким, как лазурь небесная, то презрительным, негодующим, мрачным, как туча. Приподнятые кверху углы рта – признак тонкого юмора, живого остроумия; но во всем лице нет и следа спокойствия, столь свойственного вдохновенным поэтам. Все это говорит о могучих страстях и чувствах, двигавших Свифтом, но о страстях сдержанных, укрощенных силою разума и обреченных поэтому искать для себя выхода в безустанной умственной работе и в безостановочном водовороте умственной борьбы.

Среди англичан чаще, чем среди других народов, встречаются подобные характеры: беспредельная горячность, пылкость чувства, обуздываемая и сдерживаемая не менее могучим разумом. Поэтому-то произведения таких представителей англосаксонской расы, как Свифт, Джонсон, Карлейль, носят своеобразный, исключительно им присущий характер, а когда знакомишься с жизнью этих людей, то невольно, несмотря на все несимпатичное, часто грубо эгоистичное, с чем встречаешься здесь, преклоняешься перед их энергией и убеждаешься воочию, что имеешь дело с истинными титанами человеческого рода.

На надгробной плите, под которой покоится прах Свифта, вырезана, согласно его собственному желанию, следующая знаменательная надпись: *«Hic depositum est corpus Jon. Swift… ubi saeva indignatio ulterius cozlacerare nequit. Abi viator et imitare, si poteris strenuum pro virili libertatis vindicem»*. Что означает: «Здесь покоится тело Джоната Свифта… где жестокое негодование не может уже более терзать сердца. Иди, путник, и, если можешь, подражай ревностному поборнику за дело мужественной свободы». Даже могила не могла укротить Свифта, и он пожелал, чтобы из мрака ее, как вечное напоминание потомству, слышалась его неумирающая saeva indignatio (жестокое негодование) по поводу того, что в мире, покинутом им теперь навеки, нет virilis libertas (мужественной свободы).

Этими двумя словами – *негодование* и *свобода* – Свифт сам определяет две главные точки, вокруг которых вращалась вся его жизнь и вся его деятельность. В сущности, это даже не две разные точки, так как при наличии известных условий они составляют один нераздельный фокус. Там, где нет свободы, там люди – сильные и слишком великие для того, чтобы склонить свою голову наравне с массой под ярмо рабства, – испытывают и могут испытывать одно только чувство всепоглощающего негодования. И наоборот, когда негодование вырывается бурным потоком, несмотря на все преграды, то это значит, что достоинство человека попрано и свобода его нарушена…

Да, Свифт представляет собою единственное в своем роде во всей западноевропейской литературе воплощение «saeva indignatio». Как это ни странно на первый взгляд, но жестокое, свирепое негодование Свифта шло рука об руку в его характере с пылкой чувствительностью; эти два основные течения, взаимно сталкиваясь, породили все то таинственное и непонятное в его жизни, что вызывало и всегда будет вызывать особый интерес к личности гениального сатирика и памфлетиста. Люди более мелкого калибра прибегают к разного рода компромиссам и так или иначе устраивают мир между своею чувствительностью и своим негодованием. Но Свифт был совершенно неспособен на подобного сорта сделки, и saeva indignatio прошла, можно сказать, опустошительным вихрем в его жизни, сокрушая и уничтожая все на своем пути. Она опустошила его личную жизнь, разбила его политическую карьеру, беспощадно осмеяла политические дела и общественную жизнь горячо любимой им Англии, посягнула на само человечество и дерзко пыталась ниспровергнуть его с пьедестала. Когда, казалось, уже все было разметано и разбросано, тогда она поразила сам организм, служивший ей воплощением, и повергла его в мучительную и бесконечно длившуюся агонию. Та же двойственность его личного характера отразилась и на общем тоне его произведений: под насмешливым юмором, веселым смехом, спокойной, иногда, кажется, убийственно холодной сатирой таится самая пылкая страстность, – и чем холоднее становятся его рассуждения, тем сильнее дает о себе знать сдержанная, но благодаря этому лишь удесятерившаяся страсть.

Идея свободы, одушевлявшая Свифта, определяет и главное содержание его произведений, получивших мировую известность и утвердивших за своим творцом всеобщее признание гения; это – беспощадное преследование лицемерия и насилия во всяких его видах и образах, лицемерия в самом широком смысле слова, которое ютится как в сердце отдельного человека, так и в массе общественных учреждений и

общественных дел. Свифт принялся за очистку авгиевых конюшен и, чем он глубже погружался в эту работу, тем отвратительнее ему представлялось все это человечество, утратившее свою первобытную простоту и правдивость и обросшее непроницаемым слоем лжи, грязи и мерзости. Таким образом возникла мизантропия Свифта, и он воплотил человечество в презренном образе *йеху*.

Но обо всем этом мы узнаем в своем месте. Вышеприведенными общими замечаниями относительно сущности характера Свифта и его произведений я пока и ограничусь. Я предпосылаю их самой биографии, так как считаю целесообразным в данном случае, когда приходится иметь дело с такой личностью, как Свифт, установить предварительно общую точку зрения, которая дала бы возможность разобраться во всех странностях и противоречиях, ассоциированных с именем гениального сатирика.

Глава I. Детство и первые годы возмужалости

Дед и семья Свифта. – Бедность. – Невольная поездка в Англию. – Килькенская школа. – Дядя. – Дублинский университет. – Свифт вступает в жизнь. – Вильям Темпль. – Недовольство. – Встреча с Вильгельмом III. – Нерешительность. – Первые литературные опыты. – Свифт становится священником. – Килрут. – Снова у Темпля. – Эсфирь Джонсон. – Смерть Темпля. – «Битва книг» и «Сказка о бочке». – «Решения»

Джонатан Свифт происходил из бедной семьи. Его дед, Томас Свифт, приходский священник в Гудриче, – о котором особенно любил вспоминать Джонатан, – хотя также не имел особенных средств, но, во всяком случае, жил в достатке, несмотря на свою многочисленную семью. Однако всеобщая смута, постигшая Англию во время гражданских войн, не прошла бесследно и для него. Как горячий приверженец короля, он принял деятельное участие в борьбе и оказывал содействие своим единомышленникам чем только мог. Он произносил речи ультрароялистического содержания, зорко следил за отрядами войск, беспрестанно передвигавшихся с места на место, уведомлял своих, предупреждая об угрожавших опасностях, наконец, жертвовал последним своим достатком для поддержания безнадежного дела. Он проявлял большую энергию и деятельность. Простой деревенский народ с недоумением смотрел на своего викария. Несколько раз все его достояние подвергалось полному разграблению и расхищению, однако из неведомых недр его обширного, с массой всяких чуланов и кладовых, дома извлекались все новые запасы. Народ считал его просто колдуном.

Однажды, рассказывал Свифт, его деду случилось быть в городе, державшем сторону короля; правитель города, к которому он явился, просил его пожертвовать что-либо на пользу общего дела. Викарий снял свое верхнее платье и отдал его. «Ваше платье – слишком ничтожное пожертвование», – ответил тот. «В таком случае, – сказал викарий, – возьмите мою жилетку»… В ней оказались зашитыми триста старинных золотых монет – пожертвование немаленькое для бедного, и притом еще вконец разоренного приходского священника. Он же был виновником, как утверждала молва, гибели 200 конных мятежников, переправлявшихся

через речку и насадивших своих коней на острые гвозди какой-то машины, придуманной викарием и скрытой им на дне речки. Все это не прошло, конечно, для него безнаказанно. Местный временный комитет признал его не только беспокойным и подозрительным человеком, но даже опасным злоумышленником; поэтому он был арестован и заключен в тюрьму, а его ферма и все его имущество секвестрованы. С окончанием междоусобиц викарий получил свободу и снова принялся за восстановление своего разоренного пепелища, но он не дожил до Реставрации, которая, конечно, вознаградила бы его щедро за все понесенные жертвы. Таким образом, Томас Свифт не оставил почти ничего в наследие своей многочисленной семье, и члены ее предоставлены были всецело собственным своим усилиям.

Отец Свифта, также Джонатан, шестой или седьмой сын знаменитого викария, после смерти отца отправился в Ирландию, где его старший брат Годвин успел уже нажить себе порядочное состояние. Джонатану было тогда всего только 18 лет; он существовал разными частными и случайными занятиями, которые доставлял ему брат. Несмотря на это, он вскоре женился на Эбигеле Ирик, происходившей из старинной лейчестерской семьи. Затем получил место управляющего королевскими отелями в Дублине, что обеспечивало хотя и небольшие, но верные средства существования. При поддержке богатого и пользовавшегося хорошим положением в городе брата Джонатан рассчитывал со временем сделать карьеру, однако этим надеждам не суждено было осуществиться. Он умер, оставив жене своей – с маленькой дочерью и беременной вторым ребенком – самые ничтожные средства существования. Джонатан Свифт, будущий великий сатирик, не знал, таким образом, вовсе своего отца. Он родился 30 ноября 1667 года, спустя семь месяцев после смерти отца.

Таким образом, Свифт увидел свет Божий при крайне печальных обстоятельствах. Злейший враг всей его жизни, которому он объявил в будущем жестокую войну, – зависимость встретила его на самом пороге жизни: мать не могла существовать своими средствами, и ей помогал Годвин.

Вообще, семейные традиции, имеющие немалое значение в умственном и нравственном развитии каждого человека, представляли для Свифта мало утешительного. Одна только фигура энергичного деда, имевшего, несомненно, кое-что общее со своим внуком, резко выделялась из серой заурядной жизни, посвященной заботам о добывании средств к существованию и мелким житейским делишкам. А непосредственная действительность была и того хуже. Свифт слишком рано лишился также

ухода и ласк своей матери, женщины доброй, веселой и не без некоторого остроумия. Ему был всего лишь год от роду, как его самовольным образом увезла кормилица к себе на родину, в Англию. Сделала она это, правда, без всякого злого умысла; напротив, она так привязалась к ребенку, что не могла расстаться с ним и потому решилась, когда личные дела потребовали ее присутствия в Англии, увезти тайком своего вскормленника. Он пробыл у нее целых три года, так как мать, отчасти по собственному нездоровью, а отчасти опасаясь за сына, не решилась совершить с ним обратное путешествие через пролив и оставила его на руках кормилицы, пока он не окреп. Здесь же Свифт приобрел и первые познания в грамоте; когда мать взяла его обратно к себе, то он мог уже читать по складам Евангелие.

Возвратившись в Ирландию, Свифт недолго жил с матерью: шести лет он был отдан дядей Годвином в Килькенскую школу, одну из лучших в то время в округе. С этого же момента для Свифта, собственно, перестает существовать его родная семья, и он растет, как круглый сирота. Оторванный от матери, к которой он питал глубокую привязанность в течение всей своей жизни, Свифт терзался и мучился здесь, затаив в своем сердце злобу и ненависть к дяде, руководившему теперь его воспитанием. Он знал, что дядя располагает большим состоянием, но считал его жадным и думал, что он неохотно, в силу лишь необходимости, как ближайший родственник, поддерживал его. Вспоминая о своей школьной жизни, он среди прочего говорит: «Однажды, занимаясь ловлею рыбы, я заметил, что за крючок удочки дергает большая рыба; я стал ее тащить и почти уже совсем было вытащил на берег, как она сорвалась и исчезла в воде; досада мучит меня до сих пор, и я верю, что это было предзнаменование всех моих будущих разочарований…» Несомненно, грядущее, со всею его борьбою, терзаниями, разочарованиями и неудачами, лежало уже в зародыше в сердце школьника Килькенского училища и уже начинало проявлять первые признаки жизни. Четырнадцати лет Свифт поступил в Тринити-колледж в Дублине. Он был далеко не из выдающихся учеников. К некоторым наукам, например к метафизике, логике, схоластической, конечно, в то время, он питал положительное отвращение, – отвращение, весьма характерное для Свифта. Эта складка его мышления сказалась впоследствии во всех его работах. Зато он изучал довольно прилежно классиков и приобрел в этом отношении значительные познания. На последнем курсовом испытании он получил, между прочим, следующие отметки: по физике – скверно, по латыни и греческому – хорошо, по сочинению – небрежно. Такие отметки не давали права держать дальнейший экзамен на бакалавра, который состоял в схоластическом

диспуте, и Свифту предстояло потерять еще один год; но в то время практиковался обычай допускать в подобных случаях к диспуту *specialis gratia*, как выражались тогда, то есть в виде особой милости. Это злополучное specialis gratia послужило впоследствии поводом для биографов обвинять Свифта в том, что он получил саму степень бакалавра из милости. Однако в действительности, как мы видим, это было не так. Вообще усиленным занятиям Свифта в университете сильно мешала полная необеспеченность и тягостное настроение, вызываемое мыслями о вечной зависимости. Давал ли дядя повод к подобным мыслям или они возникали просто из самолюбия и гордости Свифта, – во всяком случае, ему приходилось считаться с ними, и он терзался. В пылу негодования он говорил, что дядя дал ему собачье воспитание; между тем к другим родственникам он относился тепло и сердечно. Надо думать, что были же какие-нибудь внешние обстоятельства, послужившие причиной такого озлобления. Лишенный теплого, благотворного влияния родной семьи и вполне предоставленный своим собственным терзаниям, Свифт уже здесь, в колледже, познал всю цену независимости и материальной обеспеченности как необходимого условия первой. Мысль добиться независимого существования прочно запала в душу юноши и служила решающим мотивом во многих важных случаях дальнейшей его жизни. Свифт никогда не был скупцом и скрягой; напротив, целой вереницей проходят люди, родственники и неродственники, которым он оказывал материальную поддержку; но он слишком хорошо знал цену деньгам и потому отличался замечательною бережливостью и аккуратностью в своих расходах.

Однажды, еще в бытность в колледже, когда Свифт находился в особенно угнетенном настроении, так как даже ненавистный дядя Годвин не мог уже более его поддерживать (тот разорился на разных спекуляциях), и с отчаянием думал о своем будущем, он заметил из окна какого-то матроса, очевидно иностранца, ходившего взад и вперед по двору и разыскивавшего кого-то. «А что, если это посланец от моего двоюродного брата Уилауби, – подумал он, – и ищет меня, чтобы передать подарок от него…» Предчувствие не обмануло: мечта оказалась действительностью. Моряк вошел в его комнату и подал ему кошелек, плотно набитый деньгами, говоря, что это – подарок от двоюродного брата Уилауби, занимавшегося тогда торговлей в Лиссабоне. Радости Свифта не было предела; он горячо благодарил посланца и предложил ему часть денег в вознаграждение за труд, но тот отказался. Свифт поторопился спрятать столь ценный для него подарок. Это была первая значительная сумма,

попавшая в его руки, – но он уже знал цену деньгам и проявил, несмотря на свои молодые годы, ту расчетливость, которую часто путают со скупостью. В течение долгого времени незабвенный кошелек выручал его в затруднительных случаях.

Получив степень бакалавра, Свифт ревностно принялся за систематическое чтение, продолжал заниматься классиками и начал изучать новейшую французскую литературу.

Он готовился к магистерскому экзамену. Однако вскоре ему пришлось изменить свои намерения. Лишенный всякой поддержки, он не мог долее оставаться в университете. Приходилось заботиться уже не о науке, а о необходимых средствах существования. Подарок Уилауби пришелся весьма кстати. Свифт решил, что это будет последнее одолжение, которое он принимает от родных, и что с этого момента он должен стать на собственные ноги и завоевать себе положение, соответствующее его непомерному самолюбию. Страстное стремление к независимости воодушевляло его, а могучие силы, таившиеся в нем, служили достаточной гарантией того, что он добьется своего; однако для успешной борьбы необходима еще известная выдержанность, известная дисциплина, регулирующая и неуклонно направляющая силы человека к одной намеченной цели, и такой-то дисциплины совершенно недоставало Свифту. Но ведь она и приобретается людьми бесстрашными и наделенными пылким темпераментом лишь из самой жизни и путем непосредственной жизни. Медлить было некогда, и Свифт вступил в жизнь, – чтобы познать все трудности ее и вынести все бремя тяжести, налагаемое демоническим гением гнева и отрицания, – юношей двадцати одного года. Гений подобного рода проявляется обыкновенно в более зрелом возрасте; поэтому на первых порах в жизни Свифта мы замечаем лишь беспокойное непостоянство, непоседливость, резкость и грубость, насмешливость и колкость, гордость и презрительное отношение ко всему, что причиняло ему страдания, и одно только ясно осознанное стремление – завоевать себе во что бы то ни стало независимость.

Выход Свифта из университета совпал с крайне тревожными событиями, главной ареной которых была Ирландия. Яков II бежал из Англии и искал опоры в преданных ему католиках. Ирландцы откликнулись на призыв своего короля. Снова разгорелась междоусобица. Англичанам пришлось покинуть свои насиженные места и искать спасения в бегстве. При таких условиях Свифту в Ирландии тоже было не на что рассчитывать, и он бежал вместе с другими. Приехав в Англию, он направился первым делом к своей матери, жившей в Лейчестере.

Отношение его к матери было всегда самым теплым и сердечным; в последующие годы своей жизни он часто навещал ее, совершая свои путешествия иногда пешком. Но что ему было делать теперь в Лейчестере? Мать не имела никакого положения, проживая на свои несчастные 20 фунтов (200 р.). Разве заниматься любовными интригами? И сам Свифт признается, что он повинен в подобных забавах, – флиртешах, как называют их в Англии, – но что он никогда не выходил из известных границ. Еще в университете, не выходя далее полумили от ворот, он научился обуздывать свои матримониальные стремления, в чем ему много способствовал «холодный темперамент». «Одно весьма почтенное лицо в Ирландии, – писал он в одном из своих писем, – которое снизошло до того, чтоб заглянуть в мою душу, часто говаривало мне, что моя душа подобна заколдованному духу, который наделает бед, если я не найду ему выхода…» И вот он, чтобы дать хоть какой-нибудь исход своим беспокойным силам, позволял себе заниматься «флиртешами»… Впрочем, мать его опасалась одно время, чтобы он не увлекся некой Бетти Джонс; но эта последняя избежала опасности стать женой гениального человека, выйдя замуж за содержателя постоялого двора. Много времени спустя она обращалась за помощью к Свифту, и он охотно «пожертвовал ей пять фунтов» ради старинного знакомства. Такая жизнь не могла, однако, увлечь Свифта; кроме того, приходилось подыскивать себе какую-нибудь работу. Как ни трудно было для такой гордыни, как он, делать первый шаг и начинать именно с той зависимости, которая для него была уже теперь так ненавистна, но «судьба» не церемонилась с ним и, в виде первого испытания, свела его с утонченным дипломатом-аристократом, поставила в положение слуги у отдаленного родственника, смотревшего с высоты великосветского человека на грубого и резкого студента. Это был Уильям Темпль. При Стюартах он занимал видное положение в государственной иерархии, принимал непосредственное *участие* в важнейших делах, вел дипломатические переговоры и так далее. В эпоху исступленной партийной вражды и диких религиозных преследований он сохранял спокойствие и хладнокровие; он не был вовсе энтузиастом в каком бы то ни было смысле, хотя имел определенные политические взгляды, которые и проводил в своей деятельности, но ради которых не согласился бы пожертвовать чем-либо существенным. Среди развращенного, преданного всяким порокам и преследующего самые низменные цели придворного круга того времени это была, несомненно, светлая, выдающаяся личность. Уже одно то, что он был честен и благоразумен, когда все вообще, даже сам король (Яков II), не гнушались подкупами и ради сегодняшнего дня

совершенно забывали о завтрашнем, – одно уже это в своем роде заслуга; кроме того, он, несомненно, получил хорошее образование, много читал, интересовался литературой. Он имел внешний блеск и показное величие, но не имел глубокого сердца и сильной мысли, и в этом отношении он представлял прямую противоположность Свифту.

Мать Свифта обратилась к Темплю, как к своему отдаленному родственнику (по жене), с просьбой принять участие в судьбе ее сына и устроить его. В это время Темпль уже покинул государственную и дипломатическую деятельность и проживал в своем поместье Мур-Парк. Здесь его часто навещал Вильгельм и советовался с ним как с опытным политиком. Таким образом, Темпль продолжал занимать высокое положение. Он отозвался на просьбу и пригласил Свифта к себе. По мнению придворного вельможи, бедный родственник должен был удовлетвориться ролью доверенного слуги при нем. Действительно, положение Свифта на первых порах было крайне незавидное и даже унизительное. Он читал своему патрону, писал для него, вел счетные книги и вообще исполнял всякие обязанности старшего камердинера. Впоследствии Свифт неохотно вспоминал об этом своем первом пребывании в Мур-Парке. «Неотесанный» студент-юноша с громадным самолюбием и горделивыми мечтаниями не мог, конечно, примириться с положением слуги. Вероятнее всего, он манкировал своими обязанностями, неумело исполнял их, был груб. Недовольство росло с обеих сторон. Открытый разрыв становился неизбежным, но вряд ли он был желателен как для патрона, так и для покровительствуемого им родственника. На выручку явился случай: у Свифта обнаружились припадки головокружения и глухоты, от которых он страдал впоследствии всю жизнь, и врачи посоветовали ему отправиться полечиться на родину. Благодаря этому обстоятельству, отъезд Свифта не только не сопровождался раздором, но Темпль даже снабдил его рекомендательным письмом к секретарю вице-короля Ирландии. На родине устроиться ему, однако, не удалось. Он вскоре возвратился снова в Англию, побывал у матери и, в конце концов, мы находим его опять в Мур-Парке. И Темпль, и Свифт успели за это время более беспристрастно оценить друг друга. Первый был настолько проницателен, что не мог не заметить способностей, таившихся еще в скрытом состояний в этом грубом и неопытном юноше, а второй, в свою очередь, убедился на опыте, что общество выдающегося государственного деятеля – далеко не последняя вещь и что вообще не так-то легко устроиться и найти соответствующее своим вкусам занятие. На этот раз, однако, положение Свифта в доме Темпля было уже совершенно иным.

Прежде всего, Темпль оказал ему поддержку в получении степени магистра в Оксфордском университете. Затем, как он сам выражается в своем письме, Темпль стал доверять ему дела большой важности. К этому же времени относятся встречи и разговоры его с Вильгельмом III, которого он сопровождал во время его прогулок по саду в Мур-Парке. Несмотря на такую близость к королю, Свифт все еще не может устроиться сколько-нибудь определенным образом. Он подозревал даже, что Темпль с умыслом тормозил это дело, так как сам нуждался теперь в нем и боялся, чтобы он не оставил его. Правда, Вильгельм предлагал Свифту поступить к нему в драгуны, но последний, конечно, не мог отнестись серьезно к такому предложению. Но сознавал ли в это время сам Свифт, чего он, собственно, хочет? По-видимому, нет. Стремление к независимому положению было в нем сильно, – но нужно было, наконец, избрать определенную дорогу. Жизнь у Темпля привела его в соприкосновение с широкой ареной общественной деятельности; перед ним открывались очень заманчивые перспективы; самолюбие подталкивало его, а сознание собственных сил поддерживало. Тут проходили перед ним люди, руководившие самим ходом истории в Европе, он свободно мог наблюдать их, изучать их характеры и манеры, убеждаться в их действительных способностях. Все это давало богатейший запас знаний, которые приобрести так трудно и которыми он воспользовался впоследствии так искусно. Здесь же развернулся перед ним во всей своей наготе поразительный контраст, существующий нередко между внутренним ничтожеством человека и громадными силами, находящимися в его распоряжении, – контраст, давший обильную пищу едкой насмешке. Всматриваясь во все это, Свифт, очевидно, переживал критическую эпоху в своем развитии и оставался в нерешительности. С одной стороны, его внимание сильно привлекала политическая деятельность. Положим, он чувствовал отвращение к узости и педантической мелочности политических программ, к интригам, неизбежно связанным с политической деятельностью, к отрицанию индивидуальной самостоятельности и независимости; зато власть, влияние, положение на виду всех сильно возбуждали его, и он готов был ринуться в борьбу. С другой стороны, его уже давно привлекала литературная деятельность, и он мечтал выдвинуться именно на этом поприще. Он «писал и сжигал, и снова писал по всевозможным вопросам, писал, быть может, больше, чем кто-либо другой в Англии». Но вопрос, на что положить свои силы, оставался не решенным окончательно. Мысли и намерения Свифта еще, как говорится, не перебродили, и он хватался то за одно, то за другое.

Так, в 1693 году ему представился случай испытать себя на политическом поприще, и он воспользовался этим случаем. В это время шла усиленная агитация в пользу установления трехгодичных сроков для парламентских полномочий и был внесен соответствующий билль. Вильгельм, плохо знакомый с английской историей, колебался дать свое согласие и хотел наложить на него veto: он думал, что подобного же рода билль привел к гибели Карла I. Шумная агитация беспокоила его. Он обратился за советом к Темплю и послал к нему своего министра лорда Портлэнда; но последний тоже не понимал, собственно, ни действительного смысла английской революции, превратившей всякие королевские veto в анахронизм, ни, в частности, значения внесенного билля. Через такого посредника Темплю трудно было давать свои советы и рассчитывать на то, что они окажут должное воздействие на короля; сам он по нездоровью не мог отправиться в Лондон; а между тем он понимал всю серьезность положения и опасался крайне неприятных последствий для короля в случае, если тот действительно откажется утвердить билль. Поэтому он решил отправить к королю Свифта и поручил ему выяснить настоящее положение вещей и убедить короля не противодействовать биллю. Поручение, как видим, было крайне серьезное; кроме того, оно ставило Свифта лицом к лицу с королем. Теперь он уже являлся не в положении доверенного слуги, сопровождавшего высокого гостя во время его прогулок, а доверенного советника по вопросу государственной важности. Это был первый шаг Свифта на политической арене. Ему было тогда лет 25—26. Рассказывая об этом эпизоде, он говорит, что хорошо знал английскую историю и действительный характер английских учреждений. С юношеской уверенностью он полагал тогда, что все дело зависит от знания и правильного понимания. Однако первый опыт привел к глубокому разочарованию. Миссия окончилась неудачей: король не внял его представлениям; к счастью, билль был отложен на время. Это первое столкновение с придворной жизнью помогло ему, как он сам говорит, излечиться от тщеславия.

В области литературы первые опыты Свифта были тоже неудачны; его гений еще не обрел своего настоящего пути, он еще дремал. Его пиндарические оды, посвященные архиепископу Санкрафту, Темплю, Вильгельму III, имеют теперь лишь биографический интерес, да и в свое время не пользовались ни малейшей известностью. Драйден, литературный диктатор того времени и родственник Свифта, по поводу их сказал, между прочим: «Кузен Свифт, вы никогда не будете поэтом». Слова эти имели пророческий смысл, – тем не менее, они сильно задели Свифта, и он

никогда не забывал жестокой обиды, нанесенной ему Драйденом. Как бы ни были несовершенны эти первые юношеские произведения, однако уже и в них то там, то здесь прорываются характерные особенности Свифтова характера: слышится гложущая тоска по независимости, какое-то недовольство собою и окружающим, пробивается злая насмешка, гневный упрек и так далее. Любопытно отметить, что в самом раннем из них, оде к архиепископу Санкрафту, уже находим некоторые мысли относительно церкви и ее привилегий, – мысли, служившие отправной точкой во всей политической деятельности Свифта и объясняющие его переход от вигов к тори.

Время шло, а положение Свифта оставалось все тем же. Он продолжал жить в Мур-Парке. Конечно, теперь Темпль относился к нему совершенно иначе, – теперь он был близким человеком для старого дипломата, начинавшего, по-видимому, понимать, с кем он имеет дело; но, тем не менее, Свифту жилось тягостно: он жаждал независимого положения и широкого поприща для приложения бродивших в нем сил, а должен был мириться с зависимой и уединенной жизнью при человеке, который совершил уже свое «все земное» и стоял у преддверия смерти. Свифт настойчиво просил Темпля доставить ему место, но тот медлил. Его внимание поэтому все чаще и чаще стало обращаться к церкви: к ней влекло и образование, полученное им, и родственные связи, и внешние обстоятельства, и, быть может, даже внутренняя склонность. Однако Свифт не делал решительного шага: он никак не мог примириться с тем, что священнический сан заставляют его принять обстоятельства, а не свободное влечение, и он ждал других возможностей, чтобы тогда уже на свободе сделать выбор.

Во всяком случае, вопрос уже был, несомненно, предрешен им, и, когда Темпль предложил ему занять незначительное место с содержанием в 120 фунтов в год при Дублинских архивах, он отказался и отправился в Ирландию, чтобы принять там священнический сан. Расстался Свифт со своим патроном не особенно дружелюбно: он мог сделать для него много и не сделал почти ничего. А между тем обстоятельства сложились так, что пришлось снова обращаться к нему: для посвящения необходимо было представить удостоверение в добропорядочном поведении за все время, протекшее с тех пор, как он оставил Дублинский университет. Самолюбие Свифта страдало; пришлось, однако, писать письмо в весьма скромном, просительном тоне. Темпль выслал немедленно необходимое удостоверение. Свифт принял священнический сан в 1695 году и получил место в Кильруте с содержанием около 100 фунтов в год.

Положение англиканской церкви в Ирландии было в то время крайне незавидным. Она не успела еще оправиться от разорения, причиненного ей еще столь недавними смутами и междоусобицами. Ей пришлось выдержать двойной натиск и вести борьбу на два фронта. С одной стороны, непримиримые «круглоголовые», которые, когда в их руках очутилась власть, отнеслись жестоко и свирепо к последователям епископальной церкви, памятуя вынесенные ими преследования от последней, а с другой – преобладающая масса католического населения со своим духовенством, вымещавшая при всяком удобном случае все перенесенные ею гонения и лишения, – как, например, это было во времена Якова II, открыто ставшего на сторону католицизма. В силу этих обстоятельств англиканская церковь в Ирландии, с замирением внутренних смут и восшествием на престол Вильгельма III, представляла собой картину полного разорения. Много имущества, принадлежавшего ей, попало в руки мирян; духовенство обнищало, и многие из священников страшно бедствовали; масса мест оставались вакантными; конгрегации рассеялись; бедные и беспомощные, бывшие на попечении приходов, не имели пристанища. Билли, предложенные в интересах поддержания церкви и содействия ее дальнейшему преуспеянию, были отклонены. Приняв священнический сан, Свифт раз и навсегда решил отстаивать достоинство и привилегии англиканской церкви, и в этом отношении вся деятельность его, по крайней мере практического характера, представляется вполне последовательной и строго выдержанной. Я говорю именно практического характера, так как знаменитая «Сказка о бочке» является вопиющим противоречием в устах даже англиканского священника.

Кильрут представлял отдаленный и глухой приход. Всякие попытки Свифта взглянуть пошире на свое дело разбивались об общий индифферентизм. Тяжело ему было, конечно, мириться с подобным незавидным существованием после того, как он соприкасался так близко с политической сферой, где решались судьбы всего народа, и после того, как он привык уже лелеять в глубине сердца широкие мечты о будущей деятельности. А тут ему оставалось лишь сидеть на берегу моря да бросать в воду камни в насмешку над своими прихожанами и в назидание им. Узость и партийность пресвитерианцев, многочисленных в его приходе, глупость и ограниченность местного дворянства – все это видел Свифт, всем этим он воспользовался впоследствии, но все это было для него отвратительно теперь. Здесь же, на первых порах своего независимого положения, он мог убедиться, как мало соответствует его наклонностям спокойная, отрешенная от житейских забот деятельность приходского

священника. Правда, встреча с мисс Уоринг, сестрой одного из товарищей по университету, несколько рассеяла однообразие и скуку его жизни; но об этом эпизоде я расскажу в следующей главе; а пока для нас достаточно знать, что, написав любовное письмо к мисс Уоринг и получив на него уклончивый ответ, он покинул Кильрут и отправился снова в Мур-Парк, куда его звал Темпль и куда, несмотря на всякие неприятные воспоминания, его тянуло самого. На этот раз дипломат-аристократ, доживавший уже свои последние годы, принял Свифта, как гостя; взаимное раздражение, столкновения, недовольство и так далее – обо всем этом мы уже не слышим ничего. Очевидно, эти двое столь различных, даже противоположных людей научились ценить друг друга. В тиши Мур-Парка, на полной свободе, Свифт снова принялся за усиленное чтение; он проводил за книгой по 16 часов в сутки. Любопытно, однако, что среди разнообразного содержания его чтения мы не встречаем почти вовсе книг по теологическим и философским вопросам; больше всего он читал по истории, и в этом отношении библиотека Темпля представляла для него богатый выбор. За напряженными занятиями наступала обыкновенно реакция; физические силы требовали также исхода и находили его в далеких прогулках, путешествиях пешком – одним словом, в усиленной ходьбе. В ходьбе Свифт как бы изнашивал ту энергию, которая бурлила внутри его и причиняла ему немало страданий.

Так прожил Свифт в Мур-Парке несколько лет. Из лиц, близких к Темплю и живших в то время вместе с ним, следует упомянуть сестру его, игравшую роль хозяйки в доме, и Джонсон, вдову слуги, пользовавшегося большим доверием Темпля, с двумя дочерьми, из коих одна, Эсфирь, будущая Стелла, вступала теперь как раз в свой девичий возраст.

В 1679 году Вильям Темпль умер; в оставленном им завещании он поручал среди прочего Свифту издать его произведения и назначил на это некоторую сумму. Таким образом, Свифту снова предстояло вступить в жизнь и прокладывать себе дорогу, теперь даже без надежды на чью-нибудь помощь и содействие. Ходатайства его патрона перед королем окончились ничем. Свифт с горечью вспоминал впоследствии, что Темпль не сделал для него ничего. Но ему было тогда уже 32 года, он написал уже свою известную «Битву книг» (по поводу спора о преимуществах классиков сравнительно с новейшими писателями) и свою знаменитую, пользующуюся неувядаемою славою до сих пор, «Сказку о бочке»; он уже осязал реально таившиеся в нем силы, и ему нечего было страшиться будущего. Правда, его снедало честолюбие, а жизнь и деятельность все еще не давали пищи этому честолюбию; однако он имел полное основание

рассчитывать, что широкая арена раскроется перед ним и что он возьмет от жизни все, принадлежащее ему по праву умственного превосходства и дарования. К этому времени относятся крайне любопытные решения, записанные Свифтом и принятые им в руководство для своей последующей жизни. А именно: не жениться на молодой женщине, не водиться с молодежью, исключая те случаи, когда она сама того желает, не повторять всяких слухов и пустых рассказов, не слушать болтливых и плутоватых слуг, не быть особенно щедрым на советы всякого рода, не хвастать своей красотой и благосклонностью женщин, искать хороших друзей, которые указывали бы ему на всякое уклонение от этих правил и помогали бы ему следовать им, не стоять за немедленное осуществление всех правил – из опасения, что в таком случае ни одно из них не будет осуществлено. Но следующее решение поражает и приводит в недоумение всякого: не любить детей и не подпускать их близко к себе. Неужели Свифт был так сух и черств, что не испытывал никакой потребности в самом чистом, в самом светлом чувстве? Очевидно, испытывал, если он ставил его под особый запрет: то, к чему нет позыва, нет склонности, нечего и запрещать. Свифт запрещает себе любить детей, несомненно, потому, что он боится этого чувства, – боится тех мучений, которые будут связаны с ним. Уже тогда в нем зрело решение, представляющее большую загадку его жизни: никогда не жениться, а следовательно, и не иметь собственных детей. Ласкать чужих детей, принимать участие в их радостях и горе, быть близким к ним – одним словом, любить их – и в то же время переживать в своей душе мучительное сознание, что у тебя не будет своих детей, – переносить такую постоянную пытку немногие способны. Если бы Свифт был великим альтруистом, он, конечно, нашел бы другой выход из борьбы двух различных чувств, несомненно происходившей в нем, и тогда бы вместо жестокого, на первый взгляд, просто бесчеловечного решения – не любить детей, мы услышали бы совсем другие речи. Но гений Свифта был совсем другого рода. Жестокое негодование и беспощадный смех – как они должны были чувствовать себя перед чистым, наивным, не знающим еще даже сомнения, по-детски наивным взглядом ребенка?.. Любопытно, что, осмеивая все и всех, Свифт не касается вовсе детей. Напротив, в портретной галерее осмеянных им персонажей рельефно выступает обрисованный с глубокой симпатией образ Глюмдальклич, девочки-нянюшки Гулливера. Альтруизм Свифта носил особенный характер, свойственный вообще людям с сильно развитым личным самосознанием, энергичным и деятельным. Те, кого он любил, составляли как бы одно нераздельное целое с ним самим, и это одно охватывалось его сильным

чувством, точно стальным обручем. Интересы близких ему людей становились его собственными интересами. Когда один из его друзей-министров попал в тюрьму, он готов был последовать за ним. Но как бы ни сильна была привязанность Свифта, она неизменно предполагала поглощение более слабого более сильным, а последним всегда был, конечно, он сам. При таком складе неудивительно, что он пришел к чудовищному решению не любить детей. Не любить он, собственно, не мог, так как он горячо любил людей; но он не мог сделать детей частью своего личного существования и потому, вероятно, чтобы не растравлять свои раны, он решается поступить радикально: даже не подпускать к себе детей.

Глава II. Варина, Стелла и Ванесса

Тайна интимных отношений Свифта. – Кильрут и Варина. – Стелла и Свифт в Мур-Парке. – Ларокор. – Переселение Стеллы в Ирландию. – Modus vivendi. – Любовь Тисдалля к Стелле. – Свифт в Лондоне. – «Дневник». – Ванесса и ее любовь. – Свифт и его поведение. – Переезд Ванессы в Ирландию. – «Каденус и Ванесса». – Брак со Стеллой. – Трагическая развязка. – Увядание Стеллы. – Тревога Свифта. – Смерть Стеллы.

Варина, Стелла, Ванесса – так называл Свифт трех женщин: Уоринг, Джонсон и Ваномри, с которыми находился в более или менее интимных отношениях; все они получили широкую известность, в особенности две последние; вокруг них вращается какая-то непонятная тайна, единственная в своем роде в мире литераторов, – тайна, унесенная с собою в могилу удивительным деканом церкви Святого Патрика. Друг Свифта, Дилени, рассказывает, что он случайно застал декана тотчас после его секретного бракосочетания со Стеллой у архиепископа. Свифт был страшно возбужден и расстроен. Он не узнал своего друга, но, заметив присутствие постороннего человека, бросился бежать. Дилени подошел к архиепископу; тот плакал и на удивленный вопрос, в чем дело, ответил: «Вы только что видели самого несчастного человека в мире, но вы никогда не должны спрашивать меня о причине его несчастия». И несчастие несчастнейшего человека осталось загадкой, очевидно, навеки; 150 лет прошло уже, как тайна унесена; многочисленные попытки, сделанные с тех пор, чтобы разгадать ее, не привели, собственно, ни к чему.

Не будем поэтому заниматься здесь различными предположениями и догадками; все они, в конце концов, носят характер измышлений, а обратимся к простому изложению интимной жизни Свифта, вращающейся главным образом вокруг двух имен – Стеллы и Ванессы. Но предварительно несколько слов о Варине, так как она первая завоевала непонятное сердце этого холодного и недоступного человека, в котором, однако, под пеплом таился вечный огонь, и первая познала всю неблагодарность и жестокость его любви. Варина, мисс Джени Уоринг, была, как я уже заметил, сестрой одного из товарищей Свифта по Дублинскому университету. Он знал ее еще во времена своего студенчества и встретился с нею снова, получив место приходского священника в Кильруте, – когда ему было уже без малого 30 лет. Красивый

мужчина, с горделивой осанкой, повелительным взглядом своих проницательных глаз, приятный собеседник, вносящий оживление благодаря своему неистощимому юмору и остроумию, Свифт легко находил себе доступ в общество и пользовался большим расположением женщин. Как приходскому священнику ему не подобало, конечно, заниматься «флиртешами», к которым он обнаружил склонность еще в юношеские годы: он думал, что легко расстанется с прежними склонностями, переступив через порог паперти. Однако не то натура оказалась сильнее рассудочного решения, не то жизнь в Кильруте уже слишком тяготила его своею пустотою и бессодержательностью, – только он не выдержал, и снова появились лица из особ прекрасного пола, которым он оказывал особое внимание и которые быстро подпадали под его обаяние. В числе их Варина заняла первое место. Свифту, как мы знаем, не сиделось в Кильруте. Решив бежать из него, он пишет горячее любовное послание Варине и повергает к ее ногам свою судьбу. Вероятно, между ними уже раньше были разговоры на тему о любви. Свифт обнаруживает в письме нетерпение, он домогается, ищет ее любви; а Варина, по-видимому, кокетничает, играет с ним. «Нетерпение, – пишет он, – наиболее свойственно влюбленным. Всякий добивается того, что считает своим счастием. Страстное желание – все равно, что болезнь, и совершенно естественно, что люди ищут средств удовлетворить его, как они стараются излечить свои болезни… Я страшно страдаю от этой болезни… Некоторые обстоятельства отягчают еще более мое положение: то, что составляет предмет всех моих желаний, я чувствую, ежеминутно ускользает от меня… Какая-то непонятная сила делает Варину слишком жестокой, а меня – жертвой этой жестокости. Все эти мысли терзают меня. Любовь Варины хуже ее жестокости… Отчего Вы не презирали меня с самого начала? Ваше сострадание сделало меня еще более несчастным, а теперь Ваша любовь совершенно уничтожает меня. Верьте мне, Варина, Вы не имеете понятия о тех радостях, которые доставляет людям истинная, безграничная, чистая любовь… Невозможно, чтобы Вы были не чувствительны к столь невинным и столь сладостным восторгам любви… Клянусь Богом, Варина, Вы гораздо опытнее меня, в Вас менее девственной чистоты, чем во мне… Вы прекрасно знакомы с интригами и страстями! Порукой в этом Ваше собственное поведение. Любить и отравлять любовь излишним благоразумием в тысячу раз хуже, чем вовсе не любить… Прощайте! Но не забудьте, что если Вы откажетесь быть моею, то Вы навеки потеряете меня, потеряете того, кто решился умереть, как жил, Вашим!»

Что такое за личность эта Варина, мы не знаем, да это и не интересно, собственно. Сама по себе она прошла, конечно, бесследно, а в жизни Свифта промелькнула случайным метеором. Следует отметить лишь, что она имела небольшое состояние и мечтала о жизни, полной довольства, суетных развлечений и наслаждений. Положение же Свифта в это время было незавидно, его доходы ничтожны, а беспокойный дух, терзавший его, и дерзкая, отважная насмешливость внушала лишь опасение маленькой женщине за свою будущность с таким человеком. Любила ли она его или не любила, но связать свою жизнь с ним не решалась и ограничивалась кокетством.

Уезжая, Свифт предостерегал ее, что она навеки потеряет того, кто любил ее, и он не ошибся. Через четыре года его положение изменилось к лучшему. Уже обрисовался тот путь, следуя которому он приобретет всемирную известность; в материальном отношении он также получил более обеспеченное место в Ирландии. Варина знала обо всем этом и решилась напомнить ему о его прежних чувствах: остались ли они неизменными и испытывает ли он все такое же нетерпение?.. Теперь Варина, несомненно, согласилась бы стать женой беспокойного человека… Но тот не мог простить ей ее кокетства. Кроме того, не была ли эта любовь Свифта всего лишь пленной мысли раздраженьем?.. Теперь он, в свою очередь, любил и, по-видимому, действительно любил другую. В ответ на запрос он пишет холодное, язвительное письмо. «Я хотел бы знать, – спрашивает он, – как Ваше здоровье, поправилось ли оно после того, как доктора, Вы писали мне, советовали Вам не вступать в брак, так как брачная жизнь грозит Вам большой опасностью? Или Вы об этом думаете теперь иначе?.. В состоянии ли Вы будете устроить домашнее хозяйство, располагая доходом всего лишь в 300 фунтов стерлингов? Любите ли Вы меня настолько, чтобы угождать моим желаниям, вести такой же образ жизни, как и я?.. Сумеете ли Вы владеть своими страстями, – продолжает он уязвлять ее, – поддерживать в себе всегда хорошее расположение духа, ласками и нежными словами смягчать печаль – вообще утешать и развлекать человека, который серьезно смотрит на жизнь и глубоко захватывает ее?» Если она в состоянии удовлетворить всем этим требованиям, заканчивает он, то для него безразлично, какова она собой теперь, каким состоянием она располагает и так далее.

Варина не отвечала на это письмо. Да и что она могла ответить? Конечно, Свифт писал его не за тем, чтобы получить ответ. Так кончилась эта первая, по мнению некоторых биографов, любовь Свифта.

Признаем ли Свифта жестоким и бессердечным в его отношениях к

Варине или нет, – во всяком случае, эта «любовь» не имела никакого серьезного влияния на его дальнейшую жизнь. Другое дело – Стелла и Ванесса; тут целая трагедия, разыгрывавшаяся в течение долгих лет и кончившаяся фатальной гибелью двух безгранично любивших женщин и глубоким несчастием демонического гения, вызвавшего своею силою эту беспредельную любовь. Такая бескорыстная любовь, существующая как бы даже назло всем обстоятельствам и условностям, выпадает на долю очень и очень немногих людей, и тот, кто сумел завоевать ее, – несомненно, человек, отмеченный особенною печатью. Это может быть печать вдохновленного гения, а может быть и печать ни перед чем не содрогающегося злодея, – но, во всяком случае, она – признак того, что мы имеем дело с человеком незаурядным.

Свифт знал Стеллу еще ребенком. Когда он прибыл в первый раз к Темплю, ей было около восьми лет. Резкий и грубый студент, недоступный утонченностям аристократа-дипломата, недовольный своим унизительным положением и не умевший скрывать этого, находил облегчение в сближении с прекрасным ребенком. Беззаботную, веселую Стеллу также что-то влекло к суровому буке, умевшему, однако, играть с нею и развлекать ее. Им было весело вместе, и дружба между ними установилась очень скоро. С течением времени Свифт занялся и учением Стеллы. Под его руководством и при его содействии она приобретала познания, развивалась, крепла умственно. Естественно, что Стелла подпала всецело под его влияние и что с первых же шагов своей сознательной жизни она привыкла смотреть на все глазами своего учителя. В последний приезд Свифта ей было 15 лет; по его словам, она цвела здоровьем, отличалась грациозностью и была вообще одной из первых красавиц во всем Лондоне; «волосы ее чернее пера ворона, – прибавляет он, – а каждая черта ее лица – воплощенное совершенство». Стелла не столько поражала правильностью и строгостью своей красоты, сколько привлекала выразительностью и миловидностью своего прекрасного лица, дышавшего в ту пору юным воодушевлением. Девушка, казалось, уже понимала гений своего учителя-друга, в то время как все другие окружающие даже и не подозревали о нем. Жизнь ее в Мур-Парке протекала скучно и однообразно, и возвращение Свифта для нее было событием громадной важности, он, точно луч ворвавшегося света, рассеивал темноту ее жизни и наполнял ее светлыми надеждами и чаяниями. А Свифт? Что чувствовал он? Его тоже влекло к Стелле. Мрачное настроение, постоянное недовольство на все и всех стихало под влиянием общения с чистой, детски невинной, но вместе с тем глубокой и умной девушкой.

После смерти Темпля Свифту снова пришлось энергично приняться за устройство своей судьбы. Согласно завещанию, он приступил первым делом к посмертному изданию сочинений своего патрона и посвятил их королю, надеясь таким образом лишний раз напомнить об обещании, данном последним еще Темплю, относительно места. Но король забыл о нем; всякие расчеты на него пришлось оставить и пользоваться первым подвертывавшимся случаем. Таковым оказалось приглашение поступить в секретари и домовые священники к графу Берклею, отправлявшемуся в Ирландию в качестве главного судьи. Но секретарство его продолжалось недолго. Едва они успели прибыть в Дублин, как Берклея убедили, что священнику не подобает быть вместе с тем и секретарем. Свифт потерял это место. Не удалось ему также занять богатого деканства в Дрери – по той причине, как ему сказали, что он еще слишком молод; сам же Свифт говорил, что если бы он дал взятку кому следует, то получил бы это место. Все это, конечно, не могло не бесить и не возмущать его, и он обратился к страшному орудию, которым так прекрасно владел, к насмешке и глумлению. В нескольких строках он отделал Берклея и интриганов, ставших поперек его дороги. Распределители земных благ в виде разных мест тотчас же сообразили, как невыгодно для них вооружать против себя дерзкого насмешника, и поторопились предложить ему место священника в Ларакоре с доходом свыше 200 фунтов в год. Свифт принял его и сохранял за собою в течение довольно долгого времени, несмотря на свои продолжительные и частые отлучки в Лондон.

В первую же из своих поездок в Англию он убедил Стеллу также переехать в Ирландию. Темпль, умирая, завешал ей небольшое состояние, дававшее возможность жить независимо. В Ирландии это состояние могло найти более выгодное помещение и приносить большие доходы. Это был один довод. С другой стороны, Свифт откровенно высказал, что переселение Стеллы для него лично желательно и доставит ему большую радость. Будущая судьба их была решена. Стелла согласилась переехать. Ее сопровождала Дингли, неразлучная спутница всей ее жизни. Дабы предупредить всякие сплетни, Стелла с Дингли приехали в Дублин, когда Свифт находился еще в Лондоне. С этих же пор между ними установился тот modus vivendi[1], который поддерживался все время и сокровенный смысл которого составляет и по сию пору тайну. Стелла жила всегда отдельно; когда Свифт уезжал надолго, она вместе с Дингли перебиралась в его дом; но под одной кровлей они не жили никогда, за исключением случаев болезни Свифта. Мало того, они даже не оставались никогда вдвоем: Дингли служила тем третьим лицом, вечным свидетелем, которого

они считали необходимым иметь как бы для того, чтобы всем было ясно, что отношения их не выходят за пределы глубокой дружбы. Но вместе с тем ни Свифт, ни Стелла ни от кого не скрывали, что между ними существует самая тесная дружба: во всех его интересах она принимала живейшее участие, она разделяла все его мысли, составляла центр в кругу людей, собиравшихся у него, и играла обыкновенно роль хозяйки. Несколько раз она сопутствовала ему в его отлучках в Лондон, но и здесь они жили отдельно. Только во время путешествий он видел ее, как пишет в одном письме, один или два раза ранним утром. Понятно, что при таких условиях даже злые языки не могли ничего поделать и ни перед чем не останавливающаяся сплетня не могла бросить тени подозрения на отношения между ними. Но тем непонятней, пожалуй, были эти отношения в действительности.

В 1703—1704 годах, когда Свифт находился в Лондоне, Стеллу стал часто навещать их общий знакомый, некто Тисдалль. Он полюбил ее и хотел на ней жениться. По этому поводу возникла переписка со Свифтом, в которой находим любопытное с его стороны заявление. Намерения Тисдалля были, конечно, очень не по сердцу Свифту: установленному им modus'у vivendi угрожала большая опасность. Ему приходилось определенно и открыто высказаться, любит ли он Стеллу и собирается ли жениться на ней, – или же отказаться от нее навсегда и уступить ее другому. Альтернатива для него была крайне жестокая, и он всячески старался избежать ее. Но, во всяком случае, в его ответе мы не находим ни эгоизма, ни сухости и жестокости, усматриваемой недоброжелательными биографами Свифта. Он вполне охотно допускает, что Тисдалль мог полюбить Стеллу. «Если бы мои материальные средства, – пишет он в ответ ему, – и мое здоровье позволяли мне думать о подобных вещах, то я, конечно, из всех женщин в мире остановился бы на том выборе, какой сделали Вы, так как я никогда не встречал человека, которого ценил бы так высоко, как ее». По поводу же излияния Тисдалля на тему о том, как он любит тихую домашнюю жизнь и как он жаждет ее, Свифт среди прочего иронически замечает: «Весьма сильно завидую Вашему благоразумию и умеренности, а также Вашей склонности к покою и семейной жизни: противоположный удел составляет настоящее злополучие моей жизни, и будущее сулит мне то же». Затем Свифт высказывает свое желание, чтобы сватовство и брак были обставлены надлежащим образом, «с подобающим почтением как по отношению к Стелле, так и по отношению к ее матери». Из всей этой переписки несомненно ясно одно: Свифт любит Стеллу и на ней останавливается как на избраннице своего сердца. Несомненно также,

он знал, что Стелла любит его. Что же мешало двум любящим сердцам соединиться навеки брачными узами? И на это опять-таки Свифт совершенно ясно отвечает: недостаток материальных средств и какое-то нездоровье, глубоко гнездившееся в его организме. Конечно, Тисдаллю пришлось удалиться, что называется, несолоно хлебавши. Возвратясь в Дублин, Свифт убедился, что привязанность Стеллы к нему и его влияние на нее лишь возросли. Это, казалось бы, должно было подвинуть его к решительному шагу, неизбежно вытекавшему из их отношений. Но, увы, будущее все еще было для него загадочным сфинксом, и горделивые мечты первым делом требовали для себя удовлетворения, а тогда и только тогда могло оказаться место для любви. Однако горделивые мечты не сбылись, и любовь погибла… Впрочем, будем продолжать наш рассказ, не забегая вперед.

После описанного эпизода наступает семилетний перерыв, о котором мы не знаем почти ничего (я говорю об интимной жизни Свифта). По всей вероятности, его отношения к Стелле, определенные раз и навсегда, оставались неизменными в течение всего этого времени: Стелла его горячо любила и он, по-видимому, отвечал ей тем же, но, вместе с тем, они по-прежнему старательно избегали оставаться наедине, без постороннего свидетеля. В 1707 году они одновременно прожили несколько месяцев в Лондоне, и Стелла перезнакомилась с целым кругом лиц, с которыми был близок в то время Свифт, но и о жизни их в Лондоне мы знаем так же мало. Зато с 1710 по 1713 год Свифт ведет свой знаменитый «Дневник для Стеллы», представляющий богатый материал как для биографии его автора, так и вообще для характеристики политической жизни того времени. В эту пору Свифт находился в очень близких отношениях с тори, стоявшими у кормила правления; хотя он не занимал никакого официального поста, но сила слова, сила ни перед чем не отступающей и всесокрушающей насмешки и сатиры доставила ему положение ничем не хуже министерского. Тори видели, что он – их главная защита, и потому его везде принимали, перед ним заискивали, министры приглашали его на обеды и советовались с ним во всех важных случаях. И вот в разгаре партийной борьбы и неустанной политической деятельности он день за днем заносит в свой дневник разные крупные и мелкие события злобы дня – общественные и личные – и пересыпает свои записи ребяческим лепетом. Да, ребяческий лепет – специфическая, и притом неподражаемая, особенность этого дневника. Свифту, вероятно, часто грезилось, что он беседует с восьмилетней Хетти (так называли Джонсон в детстве) в Мур-Парке, и он сокращает, изменяет слова, переделывая их на детский лад и

тому подобное. И это таким языком пишет угрюмый и непреклонный ненавистник человеческого рода, грязный циник и так далее… Но что еще любопытнее, он упражняется в этом детском лепетанье, когда ему – 44 года, а Стелле – 30. Что читала она между строк в этих шалостях любимого человека, и какие мысли они питали в ней? А он? Он находит в этой нежной болтовне отраду и утешение, он забывает о своих терзаниях и тщетных попытках добиться определенного положения, соответствующего своим горделивым желаниям, он мечтает в это время о счастии быть вместе и изливает горячую моль– бу о том, чтобы они никогда не расставались больше чем на десять дней. Он обращается к своим леди, как если бы он сидел вместе с ними за одним столом и вел беседу; он играет с ними в карты, сдает, ходит, бьет козырем и так далее. Надоедает проза – он бросает ее, берется за стихи и продолжает ту же болтовню в виршах. Вы совершенно забываете, что имеете дело с человеком, готовым завтра же поражать беспощадной сатирой своих врагов на арене общественной деятельности, как он делал это вчера, быть может, даже сегодня. Вас очаровывает эта непринужденная, чисто детская болтовня. Она, несомненно, есть выражение того нежного чувства, какое Свифт питал к Стелле. Хотя наряду с этою последнею всегда фигурирует Дингли, но вы чувствуете, что это просто лишь ширма, которой, по неразгаданной тайне, он считал нужным прикрывать свои действительные чувства.

Но вот на горизонте злополучной жизни Свифта появляется новая личность, Эстер Ваномри. С ее семьей, состоявшей из матери-вдовы, двух сыновей и двух дочерей, из которых Эстер была старшая, Свифт познакомился в 1708 году. Они проживали в Лондоне и имели порядочное состояние. Эстер Ваномри в то время была 17-летней девушкой. Женщины вообще быстро подпадали под обаяние Свифта. Несмотря на всю свою грубость и резкость в обращении, он производил на них какое-то чарующее впечатление. Посетив в первый раз леди Берлингтон, Свифт просит ее спеть что-нибудь; она отказывается; он настаивает, наконец грубо приказывает: «Пойте, или я заставлю вас петь. Вы, милостивая государыня, кажется, принимаете меня за одного из ваших презренных английских попов. Пойте же, когда я говорю вам». С удивлением леди Берлингтон слушала эти дерзкие слова; она не выдержала, заплакала и вышла вон из комнаты. Встретившись с нею через некоторое время, Свифт как ни в чем не бывало спрашивает: «Скажите, пожалуйста, вы так же горды и в таком же скверном настроении духа, как и в тот вечер, когда я просил вас петь?» Они помирились, и леди Берлингтон стала его горячим другом. Он нисколько не стеснялся исправлять выговор, дурное произношение, и леди

не сердились на него; они признавали его своим учителем. Впоследствии он часто вспоминал об «эдиктах», которые ежегодно выпускал в Англии, предписывая всем леди быть предупредительными по отношению к нему и делать первые шаги для знакомства с ним. Нетрудно было бы составить целый длинный список женщин, находившихся в более или менее дружественных отношениях с этим самозванным султаном. Несомненно, в нем было что-то особенное, так привлекавшее к нему женщин; его власть над ними была вообще очень велика.

Молоденькая Ваномри не избежала общей участи. Частые посещения Свифта сблизили ее с ним. Она интересовалась литературой, политикой, стремилась расширить свои познания, была наделена от природы хорошими умственными способностями и страстным, нервным темпераментом. Вполне естественно, что Свифт стал руководителем сначала в ее занятиях и чтениях, а затем и вообще в направлении всех ее мыслей и стремлений. В конце концов молодая девушка страстно полюбила своего учителя. Свифт любил проводить время в семье Ваномри. В легкой и шутливой беседе со своей ученицей он отдыхал от житейских треволнений; ему льстило также ее внимание и интерес ко всем его работам и делам; но он не питал и не обнаруживал никакого страстного чувства. Выехав на время из Лондона, он написал ей коротенькое, но задушевное письмо. Она, конечно, не замедлила с ответом. Они обменялись еще и еще письмами. Ее письма принимали все более и более страстный тон…

Она обнаруживает большое беспокойство относительно его здоровья. «Верно, – пишет она, – Вы подумаете, что я уже слишком часто позволяю себе надоедать Вам… но я не чувствую достаточного самоотвержения, чтобы выносить эту неизвестность…» Чтение книги, замечает она дальше, не подвигается: закладка лежит все на той же странице, где он оставил ее… Она испытывает мучительное беспокойство и будет страдать до тех пор, пока не узнает, поправился ли он, прошли ли его головные боли… «О, что бы я дала, чтобы узнать, как Вы чувствуете себя в данный момент! Моя судьба и так слишком тяжела, – достаточно уже одного Вашего отсутствия. К чему же еще эти мучения неизвестности…» В этих словах уже явно чувствуется страсть.

«Если Вы находите, что я пишу слишком часто к Вам, то Вы должны сообщить мне об этом или вообще написать мне снова, чтобы я знала, что Вы не совершенно позабыли обо мне!..» В ее душу закрадывается уже подозрение, не любит ли Свифт другую, и она пишет: «Если Вы совершенно счастливы, то нехорошо с Вашей стороны не сказать мне об

этом ничего, или, может быть, Ваше счастье не имеет ничего общего с моим…» Зная его интерес к политическим делам, она извещает его о различных новостях и старается польстить ему, рассказывая, как ужасно министерство нуждается в нем.

Совершенно ясно, какое чувство воодушевляло бедную Ванессу (Ваномри) и какие мысли скользят у нее между строк. Понимал или не понимал это Свифт, был ли он доступен или нет ее страстному чувству, но он как бы не замечает пламени, зажженного им; он отвечает ей спокойно, снисходительно, рассказывает о своей скучной, одинокой жизни, о своих простых и несложных обязанностях приходского священника, которому более приличествует заниматься своим хозяйством (коровы, плетни и так далее), чем впутываться в партийную борьбу и браться за разрешение государственных вопросов. Скучно все это, он не скрывает, но он не возвратится назад, пока его не позовут… «Покидая Англию, я говорил Вам, что постараюсь забыть обо всем и буду писать по возможности реже…» Рисуя такими красками свою жизнь и выставляя на вид резкий контраст между тем, как он живет, чем занимается, – одним словом, между действительным Свифтом и тем, каким его хочет видеть Ванесса и каким он постоянно представляется ей, – он рассчитывал, быть может, умерить ее восторженное поклонение и охладить ее разгоравшуюся страсть?.. Если так, то удивительно, что Свифт, проникавший в самую глубину человеческих мыслей и душевных движений, мог столь жестоко ошибиться относительно женского сердца. Этот рассчитанно спокойный, холодный тон, это как бы равнодушное описание своей серенькой, скучной жизни, это намеренное отрешение от той кипучей деятельности, к которой его беспокойный гений чувствовал вечное влечение, – все это имело совершенно обратный эффект, лишь подбавляло огня, и Ванесса металась, обуреваемая своею страстью. Быть может, Свифт не решался нанести окончательного удара из своей доброты и деликатности, таившихся, несмотря на весь грубый внешний цинизм, в глубине его сердца?.. Может быть, сам Свифт поддавался страстной любви молодой женщины и бессознательно питал ее страсть? Как разгадать истинный мотив его поведения теперь, когда прошло столько времени и когда от живого человека остался только тусклый образ в – виде разных воспоминаний, впечатлений, рассказов, писем, более или менее случайных заметок? Можно с достоверностью утверждать лишь одно: Свифт знал, что Ванесса питает к нему безумную страсть, – она сама, по-видимому, открыто призналась ему в этом, – и держал себя без всякого видимого умысла со своей стороны так, что чувства несчастной девушки росли и разгорались. В

конце концов, когда Свифт получил место декана при церкви Св. Патрика в Дублине, Ванесса решилась переселиться в Ирландию, несмотря на его предупреждения, что они будут видеться редко.

Мы видели, какой задушевностью, какой нежностью веет от «Дневника» Свифта на первых порах; он поглощен всецело мыслями о Стелле и, можно сказать, всецело принадлежит ей. Но чем сильнее начинает он увлекаться житейской борьбою, чем больше отдается политическим страстям, чем теснее сближается с министрами и людьми, стоящими у власти, тем суше становится его дневник: дорогой образ начинает заволакивать какой-то туман, между Свифтом и Стеллой становится, очевидно, что-то совершенно постороннее и чуждое этой последней. Но этим «что-то» было вовсе не лицо, не женщина – а пожиравшая страсть Свифта стоять во главе политических дел. Ванесса не только преклонялась перед ним, но и разделяла или, по крайней мере, делала вид, что разделяет все его политические треволнения, интересовалась тем же, чем и он, вращалась в том же кругу людей, где и он. Они сблизились. Это было неизбежно. Но, помимо всякой любви со стороны Свифта к Ванессе, не должна ли была подобная жизнь отразиться на его отношениях к Стелле, которая оставалась чуждой его мечтаниям и политической деятельности, его удачам и неудачам в этой сфере? Отношения могли остаться в действительности те же – но чувство, прорывавшееся на первых страницах «Дневника», ушло куда-то вглубь, скрылось. Дорогой образ оказался оттесненным – тяжелыми заботами, настойчивыми стремлениями, неудачами, терзаниями; тон «Дневника» стал сдержанным, сухим. Когда в 1713 году Свифт возвратился на короткое время в Ирландию, он всецело находился под впечатлением испытанных им неудач: гордость его страдала, он переживал мучительные минуты. Его терзала мысль, что он брошен, точно негодный инструмент, и должен погибнуть в этой куче навоза и мусора. Кратковременное затем пребывание в Англии и последовавшее за ним окончательное возвращение в Ирландию только усугубили это настроение. Брак со Стеллой, который казался так возможен и близок в 1710 году, был теперь, в 1714-м, отодвинут на далекую дистанцию, – дальше, чем когда-либо прежде. Относительно наступивших затем годов мы не знаем даже, как часто виделись они; между ними не было регулярной переписки; нередко Свифт просил в письме к третьему лицу передать Стелле или узнать от нее что-либо.

Таково было взаимное положение трех интересующих нас теперь лиц, когда они в силу разных обстоятельств собрались в Ирландии и жили

неподалеку друг от друга.

Ванесса поселилась в аббатстве Марлей, близ Сельбриджа; временами она приезжала в Дублин и жила здесь. Все ее помыслы были сосредоточены, конечно, на Свифте – теперь декане при церкви Св. Патрика. Но он, по-прежнему не придавая серьезного значения ее страсти, оставался холоден и недоступен. Она требует, чтобы он чаще навещал ее, требует его поддержки и советов. «Что может быть предосудительного, – спрашивает она, – в том, что Вы будете навещать несчастную молодую женщину и руководить ею?» Страстные взрывы ее любви он принимал за капризы и безрассудство, и они сердили его; но его гнев только раздражал ее чувство. «Обращайтесь со мной так, как Вы обращаетесь, – говорила она, – и Вы долго не перестанете нравиться мне…» «Взгляните же на меня добрее и говорите со мной сердечнее, – молит она – иначе (когда он недоволен) в Вашем взгляде есть что-то такое ужасное, что поражает меня, и я немею». И Свифт не мог устоять против такой мольбы, принимался ее утешать – хотя вовсе не с чувством любовника. Когда же она переменяла фронт и начинала грозить ему, он встречал ее угрозы насмешкой и шуткой…

Весь этот роман, в котором, с одной стороны, было, во всяком случае, искреннее, горячее чувство, а с другой – то, что можно назвать эгоистической добротой или доброй жестокостью, рассказан самим Свифтом в стихотворном произведении, озаглавленном: «Каденус[2] и Ванесса». Оно было написано в 1713-м и затем пересмотрено в 1719 году. Ввиду автобиографического значения этой поэмы передаю вкратце ее содержание. Действующие лица – Ванесса (Ваномри) и Каденус (Свифт). В Ванессе грация женщины соединяется с познаниями и образованностью мужчины. Великосветские франты думают угодить ей пустой болтовней о разных пустяшных вопросах, а она отвечает им выдержками из Плутарха. Леди из Сент-Джемского предместья были поражены, заметив на ее туалетном столике сочинение Монтеня; кроме того, она обнаруживала полное невежество по части мод, уборов и так далее. Все были скандализированы и смущены, что такая богато одаренная натура, такая очаровательная прелесть погибает совсем даром, благодаря своему полному незнанию света. Но вот Ванесса встречает Каденуса. В его взоре – усталость от чрезмерных занятий; его здоровье расстроено; он постарел в политических треволнениях и постоянном осмеянии людских пороков. Министры ухаживают за ним, а половина рода человеческого боится и ненавидит его. В этой суровой борьбе он позабыл уже, как некогда очаровывал леди, как шутил с ними и невинно забавлялся их увлечениями.

Он не понимает, что такое любовь. Ванесса поражена с первой же встречи, она преклоняется перед ним. Но он относится к ней, как к дочери, наставляет и руководит ею в занятиях, он наслаждается только радостями учителя. Ванесса становится рассеянной. Каденус объясняет это тем, что он надоел ей своим педантизмом, и потому решается уехать. Встревоженная Ванесса объясняется ему в любви. Она говорит, что он научил ее быть выше ходячих предрассудков и не бояться высказывать откровенно то, что чувствуешь; и вот она чистосердечно заявляет ему, что уроки его вместо головы попали прямо в сердце… Каденус крайне смущен; речь ученицы захватила его врасплох. Он учитель, наставник – больше ничего и ни о чем другом никогда и не мечтал… А между тем могут подумать, что он имел хитрый умысел овладеть ее сердцем и ее пятью тысячами фунтов. Поэтому он пытается сначала обратить все в шутку. Но истинное чувство Ванессы слишком красноречиво дает о себе знать. Он учил ее, говорит она, любить великих людей в их творениях и через их книги; почему же она не может полюбить великого человека в его живой реальности? Каденус польщен, обезоружен и наполовину побежден. Он никогда раньше не слыхал от нее таких прекрасных речей, он готов допустить, что она имеет проницательный ум и высказывает совершенно правильные суждения. Однако остается непреклонным: лета и сан делают смешной всякую мысль о любви с его стороны; взамен последней он предлагает самую теплую дружбу. На это Ванесса отвечает, что теперь они должны поменяться ролями, теперь она будет учителем, а он учеником, теперь она будет обучать его тому, в чем он обнаруживает такую непростительную непонятливость. Успела ли, однако, Ванесса научить уму-разуму своего ученика – это остается тайной до сих пор. Так заканчивалась поэма в 1719 году. Но действительный ее конец был не таков. Его написала сама жизнь, и конец вышел, как и следовало ожидать, мучительный, полный глубокого трагизма.

Чем ближе дело подвигалось к развязке, тем тягостнее становилось положение всех этих трех лиц. Спокойная, но неизменно преданная в своей любви Стелла, с детства связавшая свою судьбу со Свифтом и покорно выносившая в течение целого ряда лет свою тяжелую судьбу; пылкая и горячая Ванесса, охваченная, точно пламенем, своею страстью, совершенно бессильная потушить её, – и между ними этот удивительный декан, терзающий и ту, и другую и еще более того терзаемый своими внутренними мучениями и физическими страданиями, переставший, несомненно, уже давно думать о брачной жизни и восторгах любви, потерпевший крушение в своих самолюбивых мечтаниях о политической

деятельности и страшившийся мысли, что ему придется умереть здесь, в Ирландии, как отравленной крысе в подполье… Если он заставлял страдать Стеллу и Ванессу, то его роковая судьба, его *saeva indignatio* заставляла его самого страдать во сто крат больше! Но как ни были велики его личные страдания, он должен был в конце концов разрубить этот гордиев узел, запутывавшийся в течение стольких лет.

Оставим пока Ванессу в ее прелестном уединении в аббатстве Марлей, вечно скучающую, жаждущую видеть Свифта и оживавшую лишь в такие радостные, но редкие минуты. Что переживала в это время Стелла? Она знала, конечно, о знакомстве Свифта с Ванессой, об их дружбе, быть может, знала и о чувствах, какие Ванесса питала к декану. Ее отношения к последнему оставались прежние, равно как и он считал ее самым близким себе человеком, – но они продолжали жить врозь, видеться всегда в присутствии третьего лица и так далее. Между тем ей уже было около 35 лет, а ему – под 50. Стелла долго и покорно ждала, – но теперь она ясно видела, что настало время сделать последний шаг – или он никогда не будет сделан. В то же время беспокойство ее росло: она не могла не чувствовать некоторого охлаждения со стороны Свифта после возвращения его из Лондона. Правда, он был удручен и подавлен неудачами и постигшими его разочарованиями – но он не искал облегчения своих страданий в ее любви, в ее поддержке. Переселение Ванессы в Ирландию невольно вызывало всякого рода неприятные предположения. Надежда всей жизни готова была рушиться. Несчастная женщина страдала на виду у всех. Здоровье ее начало расстраиваться. Неужели Свифт так зачерствел в своем эгоизме, что не обращал никакого внимания на тяжелую драму, разыгрывавшуюся на его глазах? Нет, он все это видел и глубоко страдал; но избавить Стеллу от ее терзаний, внести в ее жизнь ту радость, о которой мечтала она, он не мог, – и не потому, что любил другую, нет, – просто не мог. Если хотите, считайте это «не мог» тайной, унесенной им в могилу, – но факт остается фактом. Встревоженный, однако, упадком сил и здоровья Стеллы, он обратился к своему другу, бывшему наставнику, а теперь Клоэрскому епископу, с просьбой узнать от Стеллы причину ее горя и чем он мог бы облегчить его. Сам он уклонился от разговора, опасаясь, вероятно, неприятностей, какие могли возникнуть при этом ввиду отношений его к Ванессе. Стелла отвечала: она долго и терпеливо ждала, утешая себя надеждой стать со временем его женой, но вместо этого встречает теперь с его стороны холодность и пренебрежение, что может подать повод для всякого рода пересудов; ее доброму имени угрожает бесчестие, и избежать этого можно только одним путем. Речь шла о браке.

Свифт согласился обвенчаться, но с непременным условием, чтобы, во-первых, брак остался в величайшем секрете, и, во-вторых, они продолжали жить по-прежнему врозь и видеться в присутствии посторонних лиц. На таких условиях состоялся их брак в 1716 году, и тайна его была сохранена до конца жизни обоих.

Что Стелла настаивала на браке – это понятно, но какие мотивы руководили Свифтом, упорно отказывавшимся предать огласке совершившееся? Ответить нелегко, так как этот таинственный брак есть лишь завершение того, что всеми биографами признается тайной. Несомненно, однако, одно: Свифт в то время меньше всего думал о семейной жизни и меньше всего чувствовал склонность к ней. Большинство людей поступило бы иначе: в пору тяжелой невзгоды они стали бы искать утехи именно в радостях семейной жизни. Но Свифт ведь совершенно не похож на большинство. Не говоря уже о его опасениях оставить потомство со скверной наследственностью, – опасениях совершенно разумных, о его 50-летнем возрасте, мы не должны упускать из виду, что ни его положение декана, ни материальные средства, которыми он располагал, далеко не соответствовали тому, чего он добивался. Жизнь свою в Ирландии он считал изгнанием; в нем все еще жила надежда выступить снова на широкую арену политической деятельности; а вместо материального достатка ему приходилось в это время выплачивать долги, сделанные в Англии. Следовательно, условия, при которых он считал возможной семейную жизнь, отсутствовали, как и раньше. Поэтому-то, несмотря на формальный брак, все осталось по-прежнему, и сам факт брака был скрыт. Стелла успокоилась, поправилась, отношения между ею и Свифтом восстановились самые дружественные и сердечные, и жизнь снова вошла в прежнюю колею.

Странный компромисс не разрубил, однако, гордиева узла. Отношения Свифта с Ванессой продолжали развиваться своим порядком и неуклонно идти к своему логическому концу. Решив скрыть от посторонних глаз существовавшие между ними отношения, декан был крайне осторожен. Он очень редко навещал ее; переписка их была обставлена также разными предосторожностями. Но если спокойная и безотчетно преданная Стелла покорно подчинялась тяжелым условиям, налагаемым на нее Свифтом, то пылкая Ванесса не могла укротить своих чувств, не могла не выходить из пределов, указанных властным деканом, и чем дольше был период вынужденного затишья, тем сильнее прорывалась потом ее страсть.

От 1720 года сохранились два ее письма. В первом из них она жалуется, что вот уже прошло целых десять томительных недель, как он

был у нее в последний раз, а за это время она получила от него всего лишь одно письмо и одну записочку; но ни время, ни обстоятельства не могут ослабить ее чувства. «Обуздывайте мою страсть, – пишет она, – какими угодно ограничениями, отправьте меня хоть на самый край света – Вам все-таки не удастся подавить во мне очаровательных воспоминаний: они вечно будут возникать в моем уме, пока я не лишусь памяти. Моя любовь к Вам не только в моей душе, о нет! Она повсюду, она в каждой частице моего тела!..» Она умоляет его не мучить ее, не превращать ее жизнь в медленную агонию, не лишать ее своей нежности и снисходительности. Второе письмо обнаруживает еще более возбужденное и страстное настроение. Целые дни она тоскует и вздыхает, а ночи проводит без сна в мыслях о том, кто о ней вовсе не думает. Она родилась «с той всепоглощающей страстью, которая сосредоточивается вся безраздельно на одном, и такую страсть, – пишет она, – я питаю к Вам». Если бы она могла проникнуть в тайники его мысли, – что невозможно, так как никто из живущих и живших когда-либо людей никогда не мыслил так, как он, – то она, вероятно, узнала бы, что он хочет сделать из нее монахиню, всецело посвятившую себя служению небу. «Но это не спасло бы Вас, – говорит она. – Если бы я была восторженной энтузиасткой, то Вы были бы мое божество, Вам бы я поклонялась… Ваш дорогой образ всегда стоит перед моими глазами, иногда Вы поражаете меня благоговейным ужасом, и я трепещу от страха; в другой раз лицо Ваше сияет очаровательною симпатией, и я чувствую, как душа моя оживает…» Что должен чувствовать человек, получающий подобные письма от близкой женщины, которую он, во всяком случае, высоко ценит и уважает, но чувства которой не может разделить?.. Что мог отвечать ей Свифт? Всякий ответ в подобных случаях является, точно чаша с отравой, а молчание причиняет еще худшие страдания. Дилемма – мучительная, неразрешимая. И Свифт, несомненно, терзался, метался из стороны в сторону и еще больше запутывался. Он успокаивает ее, советует не поддаваться тоске, не проводить время в безделье, напротив – быть постоянно занятой чем-нибудь, двигаться, читать книги легкого, забавного содержания и так далее. Вместе с тем он несказанно радует ее, обещая продолжать «Каденуса и Ванессу» и напоминая ей о разных дорогих для нее сценах из недавнего прошлого, а в одном из писем даже пишет (по-французски): «Будьте уверены, ни к кому в мире Ваш друг не питал никогда такой любви, уважения, почтения, как к Вам…»; но тут же просит ее позабыть о нем навсегда и «покинуть этот подлый остров…»

В таких противоречиях продолжала развиваться тяжелая драма личной

жизни Свифта; очевидно, он чувствовал себя бессильным найти какой-либо удовлетворительный выход и путался. Когда помимо его воли настал финал и над его головой разразился скандал, то он заметил, что так именно и должно было все кончиться, что в этом он был уверен. Конец, действительно, фатально вытекал из страстного чувства Ванессы. Сосредоточенная всецело на одном чувстве, на одном желании, она дошла до полного изнеможения; жизнь становилась для нее невыносимою; одна безраздельная мысль овладела ею: узнать, во что бы то ни стало узнать, женится ли на ней декан, может ли он жениться, не женат ли он уже на Стелле? С этой целью она пишет (в 1723 году) письмо к последней и открыто спрашивает ее, жена ли она Свифту. Стелла сообщила ей о своем браке, а письмо передала Свифту. В порыве гнева декан тотчас же отправился в аббатство Марлей, вошел к Ванессе и молча, не говоря ни слова, с искаженным от злобы лицом, бросил письмо на стол и удалился. Гордиев узел был разрублен. Слабое от природы здоровье Ванессы, подточенное вконец не находившей исхода страстью, не выдержало удара. Она стала быстро таять и вскоре умерла. Согласно оставленному ею завещанию, после ее смерти была издана поэма Свифта «Каденус и Ванесса». Так несчастная Ванесса, жертва своей страсти, мстила еще более несчастному декану, жертве своей *saeva indignatio.* Она завещала также издать и их переписку, но душеприказчики не решились исполнить ее волю немедленно, и письма появились уже после смерти Свифта. Но довольно было и поэмы. Скандал вышел громадный. Врагов у Свифта было достаточно во всех слоях и сферах, а любовные истории представляют обыкновенно такой неисчерпаемый и такой благодарный источник для всякого рода инсинуаций, клеветы, сплетен… Свифт покинул на время Дублин и отправился на юг Ирландии, а Стелла замкнулась в своем уединении.

Судьба Стеллы была решена, собственно, еще в 1716 году, когда она обвенчалась со Свифтом и когда между ними состоялось соглашение держать в тайне свой брак. Вся дальнейшая ее жизнь представляет лишь одно постепенное увядание. В 1723 году, во время душевных треволнений, вызванных последним решительным шагом Ванессы, Свифт предлагал Стелле огласить их брак, но она сама отказалась, сказав, что теперь уже «слишком поздно». По возвращении его из поездки на юг Ирландии жизнь их пошла своим обычным чередом. Вскоре Свифт снова принял деятельное участие в политической жизни. На этот раз он встал на защиту Ирландии и выступил со своими знаменитыми «Письмами суконщика». Необычайный успех оживил его, он еще раз решился попытать счастья и отправился в

Англию. Во время его отсутствия здоровье Стеллы стало быстро ухудшаться. Получаемые им печальные известия сильно тревожили и мучили его. Он обращается к своим друзьям и настоятельно просит их извещать его как можно чаще и в особенности не скрывать от него правды. Он пишет им, что ценит жизнь очень мало, но что после такой потери, какая угрожает теперь ему, останется только просить Всемогущего, чтобы он даровал ему силы перенести тяжесть остающихся дней. «…Я не знаю, что я говорю, – пишет он дальше, – но верьте мне, что сильная дружба отличается гораздо более постоянным характером, чем сильная любовь, и не в меньшей мере завладевает человеком, чем эта последняя…» Он старается подготовить себя встретить, как подобает философу и христианину, роковой удар, но боится, что это ему не удастся. На этот, однако, раз опасность благополучно миновала. Стелла поправилась, хотя ненадолго. Прошел год. Он все еще оставался в Англии. В это время появились анонимно, как и все вообще произведения Свифта, его известные ныне каждому ребенку «Путешествия Гулливера». Эффект, произведенный ими, был необычаен. Но Свифт не мог успокоиться на литературной славе, – он добивался непосредственного участия в политических делах. Это ему не удалось. Огорченный, потерявший всякую надежду на лучшее будущее, разбитый физически и морально, он собирался покинуть Англию навсегда и возвратиться в свою «нору», в ненавистную ему Ирландию, чтобы здесь провести в мучительной агонии остаток дней своих, когда печальные вести о здоровье Стеллы снова встревожили его. На этот раз положение Стеллы было безнадежно. По мере того, как приближалась неизбежная развязка, росла тревога Свифта. Он пишет друзьям, что не в силах встретить удар лицом к лицу, не в силах присутствовать при ее смерти. Пусть они сообщат ему голый факт; не надо никаких подробностей: все равно он не в состоянии будет читать их. Зачем ему теперь заботиться о своем здоровье, бороться со своею болезнью… Неужели ему предстоит жить только для того, чтобы постепенно терять то, что придает жизни смысл и цену? «Что я буду делать в этом мире! – мучительно восклицает он. – Моя злополучная голова безнадежно опускается, и я не имею более сил держать ее прямо!..» Но Стелла угасала медленно, и Свифт застал ее еще живой. Она умерла в январе 1728 года. Он не присутствовал при ее смерти; но, получив печальное известие и оставшись один со своим горем, взялся за перо и излил свои чувства, набросав первые строки характеристики Стеллы, этого «преданнейшего, добродетельнейшего, бесценного друга, какого только он или кто-либо другой имел когда-либо». Характеристику эту Свифт продолжал затем

день за днем, отрываясь лишь во время приступов головной боли, когда он не мог вовсе писать. Конечно, большинство простых смертных не таким образом выражают свою печаль по умершему другу, – даже больше, по умершей подруге жизни, – и многие поэтому, измеряя все на свой аршин, ищут других, более понятных для них мотивов в объяснение поведения Свифта. Предоставим им заниматься этим неблагодарным делом, а сами возвратимся к Свифту и отметим еще один характерный для него факт. Он, Свифт, не присутствовал даже при похоронах своей Стеллы. Печальный обряд, по обычаю того времени, совершался ночью, и из окна помещения, занимаемого Свифтом, можно было видеть место последнего успокоения и двигающуюся к нему погребальную процессию, освещенную среди ночной темноты светом мерцающих факелов. Свифт не мог вынести и этой сцены. Он удалился в другую комнату, откуда ничего не было видно, и провел здесь все время, пока совершалось погребение. Когда мучительная агония, начавшаяся вскоре после смерти Стеллы и длившаяся в течение долгих лет, свела в могилу и Свифта, то в его столе нашли среди прочего локон Стеллы, завернутый в бумагу с короткой надписью: «Только волосы женщины». Этот локон является немым, но красноречивым свидетельством истинных чувств, какие воплощенная *saeva indignatio* питала к воплощенной преданности и нежности… Кто проникнет в тайну их отношений? Она унесена в могилу. Но эта же могила соединила тех, кому в жизни не суждено было найти счастья в полной гармонии: прах Свифта и Стеллы покоится в одном гробу.

Глава III. Свифт как политический деятель и памфлетист

Общее положение Англии. – Отличительные черты политической деятельности Свифта. – Свифт как сторонник вигов. – «Раздоры в Афинах и Риме». – «Сумасшедший поп». – Ходатайство Свифта о возвращении церкви «десятин» и «первинок». – «Письмо по поводу присяги». – «Возражение против уничтожения христианства». – «Проект относительно содействия преуспеянию религии». – «Мысли о церкви англичанина». – Полное охлаждение к вигам. – Речи Сачеверелля. – Падение вигов. – Сближение Свифта с тори. – Участие в «Examiner'е». – «Поведение союзников». – Разногласие между министрами Гарлеем и Болингброком. – Свифт получает место декана при церкви Св. Патрика в Дублине. – Возвращение в Англию. – «Общественный дух вигов». – Последняя попытка примирить министров. – Падение тори.

Прежде чем рассказывать о политической деятельности Свифта, необходимо несколько освежить в памяти читателя общий характер событий того времени и привести некоторые хронологические даты.

Англия только что пережила одну из самых кровавых эпох своего внутреннего устроительства. Такие события, как казнь Карла I (1648 год), забываются не скоро. Свирепые «круглоголовые», во главе со своим диктатором Кромвелем, опустошительным пожарищем прошли по всей стране. Не было, казалось, такого уголка, где бы религиозные и политические страсти не дали о себе знать в самой жестокой форме. Только фанатическое увлечение могло придать ту стойкость и силу, какую обнаружила в Англии эта народная революция. И действительно, свобода и независимость, составляющие, по справедливости, гордость английского народа, были выкованы в горниле религиозного чувства. Конечно, появлению пуритан, этих точно выточенных из цельного гранита фигур, не знавших никаких сомнений и колебаний, предшествовал период скептицизма и критики, разрушивший старые суеверия. Суеверия, как обыкновенно бывает, не хотели добровольно уступить своего места новой жизни, и дух отрицания, говорит Бокль, «разорвал все путы и в отмщение низверг учреждения, которые тщательно старались задержать его развитие». Настоящий, не деланный скептицизм является всегда лишь

обратной стороной глубокой веры. И действительно, пуритане не знали никаких сомнений и обрушились всею тяжестью своего сурового, угрюмого верования на существовавший строй. Старые учреждения были сметены. Но религиозное чувство сектантов, потеряв связь со свободной, критической мыслью, выродилось в фанатизм и ханжество, не замедлившие вызвать, в свою очередь, реакцию. Кромвелевская республика продержалась недолго. Стюарты возвратились в Англию. Карл II вывез из Франции и пересадил на английскую почву всю распущенность, царившую при французском дворе. Фанатизм и ханжество пуритан сменились кощунством и легкомыслием людей, у которых не было, что называется, ni foi, ni loi[3]. Вместе с тем начинается реакция со стороны католицизма. Яков II даже не считает нужным скрывать свои симпатии и открыто выступает как правоверный католик. В 1688 году он, однако, принужден бежать, и английский народ приглашает на царство Вильгельма III, штатгальтера голландского. Попытки Якова II и его преемников возвратить утраченный престол остались безуспешными, – но весь конец XVII и начало XVIII века Англия жила под постоянным страхом измен и предательств. Как бы там ни было, однако с воцарением Вильгельма наступает эпоха мирного развития: я имею в виду, конечно, внутренние междоусобицы, царившие полвека, так как внешние войны продолжались своим чередом. Теперь, когда страсти несколько улеглись и предстояла созидательная работа, гнусное наследие прошлого дало о себе знать в полной мере.

Положение дел при Вильгельме, Анне, двух первых Георгах, как говорит Тэн, было так плачевно, что невольно склоняешься в пользу мнения Свифта. Ему не приходилось вымышлять своего омерзительного *йеху* – он видел его в действительной жизни, видел множество *йеху* в самых разнообразных положениях. Самые грубые страсти народа каждую минуту готовы были прорваться наружу. Долгие кровавые годы восстаний и междоусобиц сделали народ весьма склонным к буйствам, самовольной расправе, дракам. Джин, изобретенный в 1684 году, сильно способствовал развитию массового пьянства. В этой нездоровой общественной атмосфере постоянно слышались отдаленные раскаты народного бунта. «Дирижирующие» классы пали еще ниже. Тут царил самый разнузданный разврат. Измена гнездилась повсюду. Подкуп заправлял всем. Начиная от короля и кончая последним избирателем, всех можно было купить и продать. «Деньги здесь почитаются выше всего, – писал Монтескье, – а честь и добродетель весьма мало… Для англичанина необходим хороший обед, женщина и довольство». «…В Англии нет религии, – продолжает

он, – если бы кто-либо заговорил здесь о ней, его засмеяли бы». И это после дикого фанатизма пуритан!.. Самые выдающиеся государственные люди – герцог Мальборо, министры Болингброк и Уолпол – все причастны были скандальным недостаткам и порокам своего времени. Но по тинистому, грязному дну и под мутной вонючей поверхностью «катились струи великого национального потока, который, по мере собственного движения, выказывал уже время от времени естественный свой цвет…» Поток проложил себе скоро широкое русло, и воды его, продолжая очищаться более и более и по сию пору, постепенно приобретают надлежащую чистоту и прозрачность. Я говорю о любви к свободе, составляющей характерную особенность англичан и представляющей основу всех их великих учреждений. Вот прекрасная характеристика англичанина, набросанная Тэном: «Серьезный, задумчивый и грустный по натуре, англичанин не может смотреть на жизнь, как на забаву или удовольствие: взгляд его по привычке обращается не ко внешности и веселой природе, но к внутренним явлениям души; он наблюдает самого себя, беспрестанно зондирует свой внутренний строй, замыкается в своем нравственном мире и теряет, наконец, способность видеть в чем бы то ни было красоту, за исключением внутренней; он ставит справедливость единственною и безусловною повелительницею человеческой жизни и все свои действия хочет подвести под строгие правила составленного им кодекса. Для этого у него нет недостатка в силах, потому что его гордость приходит на помощь совести. Он постыдился бы уклониться от пути, избранного им самим и по собственной воле; он, как врага, отталкивает искушение; он чувствует, что борется и побеждает…» Не узнаете ли вы в этом мастерском абрисе портрет Свифта, лишенный только некоторых индивидуальных черт? Целью всей его жизни также была борьба, и, несмотря на все свое злополучие, он знал радости победы. Борьба с чем? А именно с той стоголовой гидрой, какую представляли общественные нравы его времени. Для того, чтобы идти вперед, необходимо было расчистить путь; это-то дело и делала беспощадная сатира Свифта. Та же сатира служила ему орудием и в его партийной борьбе, и в этом случае она, конечно, выражала какие-либо конкретные положительные требования.

При оценке политических памфлетов и сатир Свифта и его политической деятельности вообще необходимо иметь в виду следующие два соображения. Во-первых, он от начала и до конца своей жизни выступал защитником англиканской церкви и ее привилегий. Как в маленькой сфере, будучи приходским священником, а затем деканом, так и в большой, принимая близкое участие в делах торийского министерства и

электризуя своими памфлетами всю страну, он не забывал, что он – служитель церкви. Был ли он в глубине души христианином, верующим согласно учению англиканской церкви, или нет, – во всяком случае, он считал себя представителем и защитником ее интересов, и никогда, даже в пылу политических страстей, не изменял себе в этом отношении. Он прекрасно знал, какими бедствиями угрожали стране как фанатизм протестантских сект, многочисленных в то время, так и нетерпимость католицизма, и потому счел за самое благоразумное поддерживать англиканскую церковь. Во-вторых, он признавал принципы революции 1688 года, то есть принципы, нашедшие себе выражение в знаменитом habeas corpus[4] и послужившие прочным основанием развитию свободных учреждений в Англии. В этом отношении он был так же далек от якобитов, как и чистокровные виги.

Мы знаем, что годы своей молодости Свифт провел в доме Темпля, выдающегося вига, принимавшего участие в составлении habeas-corpus'a; здесь же он встречался с массою государственных деятелей из лагеря вигов. Ничего нет поэтому странного, что на первых порах он сам примыкает к ним и первый свой политический памфлет пишет в их защиту. Это трактат «О раздорах в Афинах и Риме». Толкуя о партийных разногласиях, раздиравших Грецию и Рим, Свифт имеет в виду современные ему столкновения вигов и тори. Трактат относится к 1701 году, то есть к тому времени, когда борьба между этими двумя партиями превратилась в раздор между обеими палатами. Поводом служил вопрос о землях, конфискованных в Ирландии вследствие последнего якобитского движения и розданных Вильгельмом разным фаворитам из немцев. Палата общин, в которой преобладали тори, возмутилась, приняла билль об отобрании земель у королевских фаворитов и решила возбудить преследование некоторых из наиболее выдающихся вигов, занимавших места в министерстве; палата лордов, где большинство составляли виги, высказалась как против билля, так и против преследования. Несогласие превратилось в открытый раздор и угрожало чуть ли не гражданской войной. Свифт становится на сторону вигов и предостерегает тори, чтобы они своими необузданными домогательствами не погубили народной свободы, как это случалось не раз в древнем мире. Ничто его так не устрашает, как владычество черни; он протестует против партийного правительства и указывает на то, что благоразумное правительство должно уметь примирять все партии. Вскоре за опубликованием памфлета последовали события, резко изменившие как общественное настроение, так и взаимное положение враждующих партий. В 1701 году во Франции умер

Яков II, и Людовик XIV признал его сына английским королем, ввиду решения английского парламента, что если у Вильгельма не будет детей, то престол должен перейти к сестре его жены, Анне. Понятно, общественное мнение Англии было возмущено до крайности этим непрошенным вмешательством французского короля. Вильгельм, как защитник народной свободы, и виги, как приверженцы новой династии, снова завладели общественным доверием, а тори, вечно подозреваемые в тайных происках и якобитских заговорах, должны были с позором ретироваться.

Хотя Свифт выпустил свой трактат без подписи, однако в политических кругах скоро стало известно имя автора, и руководители вигов Сомерс, Вернет и другие выразили ему свое одобрение и благоволение. С этих пор Свифт начинает учащенно посещать Лондон и проводить здесь более или менее продолжительное время. Он постепенно завязывает обширные знакомства – как в политических, так и в литературных кругах; посещает разные рестораны, где обращает на себя внимание своим странным поведением. Существует на этот счет один курьезный рассказ. В ресторане, где собирались Адиссон и его компания, стал появляться какой-то странный священник; он приходил аккуратно в определенное время, прохаживался с полчаса взад и вперед по комнате и затем уходил, не проронив ни одного слова. Они прозвали его «сумасшедшим попом». Но вот однажды этот «сумасшедший поп» подходит неожиданно к одному из случайных посетителей, по-видимому заезжему провинциалу, и спрашивает его: «Скажите, пожалуйста, можете ли вы припомнить хоть один день, когда была бы хорошая погода?» «Да, сударь, – отвечал тот, – благодаря Богу, я могу насчитать за время своей жизни множество дней, когда стояла хорошая погода». «Это больше, чем я могу сказать, – отвечал странный поп. – Я не могу припомнить ни одного дня, когда погода не была бы или слишком жаркой, или слишком холодной, или слишком сырой, или слишком сухой; но, что бы всемогущий Бог ни посылал, к концу года оказывается, что все обстоит как нельзя лучше…» С этими словами он вышел. Это был Свифт. Вообще, он легко проникал во всякие слои общества. Через вице-королей Ирландии, с которыми он поддерживал постоянные отношения, а также через знакомства, завязанные еще в Мур-Парке, он находил доступ в разные аристократические дома. Через Конгрева, бывшего товарища по школе, а теперь литературную знаменитость, знакомился с литераторами. Но больше всего он обязан и в этом отношении лично самому себе, своему остроумию, своему умению оживлять юмором, шуткой, остротой всякое сборище людей. Со вступлением на престол Анны (1702 год), под

влиянием Мальборо составился кабинет, хотя и считавшийся виговским, но в действительности представлявший из себя какую-то смесь. Здесь были Годольфин, Ноттингам, Пемброк, Гаркур и другие; но главную роль играл знаменитый полководец Мальборо, опиравшийся на вигов, так как они были сторонниками войны, а следовательно, его естественными союзниками. В палате общин по-прежнему преобладало торийское большинство, а в палате лордов – виги. Министерству приходилось лавировать. В особенности горячие дебаты вызвал билль, направленный против случайных конформистов, то есть против тех из диссидентов, которые соглашались принимать причастие по обрядам англиканской церкви при зачислении на службу. Палата общин несколько раз принимала этот билль, а лорды его отвергали. Положение Свифта в этом вопросе было несколько двусмысленное: он считал себя сторонником вигов и, следовательно, должен был относиться отрицательно к биллю, тогда как в качестве защитника интересов высокой церкви он не мог, конечно, не сочувствовать ему. Впрочем, Свифту не пришлось вмешаться публично в обсуждение данного вопроса. Но, вероятно, мысль о том, как далеко он может идти с вигами, начинала уже тревожить его. Не лучше ли ему удалиться в уединение, предаться «размышлению и изучению», выжидая дальнейших событий?.. К обеим партиям он, по-видимому, начинает относиться с одинаковым недоверием. Но для открытого разрыва с вигами не настала еще пора. К этому же времени (1704 год) относится появление в печати его знаменитой «Сказки о бочке», о которой я буду говорить ниже. Отмечу здесь, что она доставила ему и громкую славу, и непримиримую ненависть. Королева никогда, до самой смерти своей, не могла простить ему этой «сказки», что, несомненно, служило большой помехой для его личной карьеры.

Возвращаясь из своих отлучек в Ирландию, Свифт и здесь находил те же партийные счеты, разделявшие общественное мнение на два враждебных лагеря. Кроме того, Ирландия страдала еще и от своекорыстной политики английского парламента в делах торговли и промышленности. В это время местный парламент обсуждал между прочим вопрос о содействии развитию пенько– и льнопрядильной промышленности, великодушно предоставленной английскими коммерсантами свободной инициативе несчастного народа, и проектировал ходатайствовать об отмене десятин, платимых с этих производств в пользу духовенства. Последнее же как раз в это время домогалось возвращения ему вообще всех «десятин» и «первинок», отнятых еще Генрихом VIII. Произошло жаркое столкновение между Ирландской палатой общин и

местной духовной конвокацией, зашедшее бы очень далеко, если бы перерыв заседаний не положил ему предела. Свифт не принимал непосредственного участия и в этих пререканиях, он находился в раздумье, выжидал; но здесь уже явно обозначались два пункта, по поводу которых он вступит со временем в горячую борьбу с вигами: церковный вопрос и ирландский вопрос; последний еще очень не скоро займет его внимание, но зато с тем большей силой он встанет на защиту угнетенного народа.

В конце 1707 года на Свифта была возложена миссия добиться от министерства согласия на возвращение ирландскому духовенству указанных выше «десятин» и «первинок»; он рассчитывал, что при помощи связей с руководителями вигов ему удастся успешно выполнить это поручение. Он снова отправился в Лондон и провел здесь более года. Это был поворотный и решительный момент в его политической деятельности. Приняв на себя миссию, имевшую большое значение для разоренного в то время и обнищавшего мелкого духовенства Ирландии, он рассчитывал вместе с тем устроить и свою судьбу, получить такое место в церковной иерархии, которое открывало бы перед ним более широкую арену для деятельности и удовлетворяло бы его честолюбию. Переговоры шли, однако, туго. Министерство уклонялось дать определенный ответ, явно намекая, что просьба может быть легко удовлетворена, если духовенство, со своей стороны, сделает уступки и согласится на различные послабления в пользу пресвитерианцев. Свифт, уже в «Сказке о бочке» обнаруживший всю свою ненависть к нетерпимости разного рода сектантов, гнушался идти на такого рода сделки. Наконец ему удалось добиться личного свидания с Годольфином, лордом казначейства; но и последний не дал решительного ответа и требовал, чтобы ирландское духовенство, со своей стороны, согласилось поддерживать вигов. Конечно, Свифт не имел права, да и лично не был склонен давать подобных обещаний. Эта политика торговли и лжи, эти уверения каждого из министров, что от *него*, мол, все зависит, так что трудно было разобрать, от кого же на самом деле зависит то или иное разрешение данного вопроса, возмущали Свифта до глубины души и внушали ему омерзение к людям, стоявшим тогда во главе министерства. В конце концов, однако, после длинных проволочек, его уведомили, что «десятины» и «первинки» будут возвращены ирландской церкви, о чем он и поспешил сообщить дублинскому архиепископу как о факте. Но ему скоро пришлось убедиться, что и это было всего лишь одно из тех обещаний, каких он получил от министерства немало. Попытки устроиться лично также не привели ни к чему. Рассказывают, что, прощаясь с Галифаксом, Свифт попросил у мецената-вига лежавшую на

столе французскую книгу на память, говоря, что это будет единственное одолжение, какое он и его партия сделают ему за все время их знакомства.

К этому времени относится целый ряд памфлетов, написанных Свифтом в защиту англиканской церкви и ее привилегий; эти памфлеты определили то положение, какое он неизбежно должен был занять в борьбе тори и вигов. Они имеют большое значение и в биографическом отношении, так как снимают со Свифта позорное пятно ренегатства и показывают, какие мотивы руководили им, когда он решился присоединиться к тори. Все эти памфлеты относятся ко времени, когда он еще не разорвал открыто с вигами; важнейшие из них: «Письма по поводу присяги в отречении», «Возражение против уничтожения христианства», «Проект относительно содействия преуспеянию религии» и «Мысли англичанина о церкви». В первом он открыто высказывается против отмены, в угоду пресвитерианцам, Test act'a, за которую выступали виги. «Возражение» он начинает робким заявлением, что ему приходится пойти вразрез с общим мнением, относящимся благосклонно к мысли об упразднении христианства; он считает, что с этим вопросом не следует спешить. Конечно, говорит он, речь идет не о действительном христианстве, которое приличествует лишь временам дикого варварства, а об условных фикциях, признаваемых в настоящее время христианством. Эти последние имеют свои выгодные стороны, – и он рассматривает их в политическом, экономическом, финансовом отношениях. Наконец, говорят, что христианство порождает секты и партийный дух; он признает всю серьезность этого возражения и готов был бы согласиться на уничтожение христианства, если бы только таким образом была достигнута цель, то есть если бы секты и партии действительно сгинули. Но так ли это? Исчезнет ли действительно язва? Станут ли люди правдивыми в силу того, что вы изгоните слова, обозначающие ложь? Наконец, он уверен, что лишь только пройдет акт об изъятии Евангелия, тотчас же разные бумаги упадут в своей ценности, и это соображение больше, чем какие бы то ни было мудрствования, должно удерживать от решительного шага, так как нет никакого резона для людей терпеть убытки. «Проект» написан в дидактическом тоне, притом так выдержан, что затрудняешься сказать, представляет ли он тонкую иронию или же является простым изложением мнений автора. Добродетель поддерживает религию; та и другая должны опираться на известного рода привычку, вырабатываемую путем насильственного подчинения общепринятым условностям. Открытые нарушения нравственности следует наказывать. Так добродетель войдет в моду, и люди станут добродетельными. За пренебрежение обрядами также

следует наказывать, и так люди станут религиозными. Все это Свифт излагает крайне искусно и просто, не впадая ни в ханжество, ни в цинизм. Он говорит так, как говорил бы человек, искреннейшим образом убежденный в правоте своих мнений. В действительности Свифт всегда признавал, что людьми следует не руководить, а править, что нужно принуждать их быть добродетельными и так далее. Затем он с удивительным хладнокровием, точно совершенно бесчувственный человек, разоблачает разные социальные язвы: злоупотребления в общественных учреждениях, продажность судей, бесчестность торговцев, плутовство адвокатов, недостатки воспитания, пороки великосветского общества… Нарисовав ужасную и гнусную картину общественного разложения, он, однако, не апеллирует к какому-либо высшему принципу, нет, он считает это как бы не по плечу людям и говорит им: повинуйтесь установленным правилам, подчиняйтесь принятым условностям, избегайте скандалов, это – ваша обязанность членов общества; а обращаясь к правителям, говорит: заставляйте людей исполнять все это – такова ваша обязанность; вот идеал, он крайне жалок, это правда, но в то же время он наивысший, какого вы можете достигнуть. Но в особенности интересны в биографическом отношении «Мысли англичанина»; конечно, это – мысли самого Свифта по двум вопросам первостепенной важности: о религии и о государстве. Относительно первой он излагает те же взгляды, что и в предыдущих трактатах. Он судит о религии с точки зрения ее общественного значения, общественной пользы. Ему нет дела ни до тех возвышенных умозрений, на которых она покоится, ни до чувств, которые она приводит в движение, ни до духовных потребностей, обусловливающих само ее существование; он толкует о ней как об общественном факторе, определяющем такое или иное поведение отдельного человека. Существование религии оправдывается тем благом, какое она приносит обществу. Если это так и если за таковую благодетельную религию признается англиканское исповедание, то для Свифта отсюда логически вытекает, что никаких послаблений ни для каких сект делать не следует. Эту тему, как видим, он особенно усиленно развивает накануне своего решительного отпадения от вигов. Если в церкви он не ищет никакого божественного Промысла и судит о ней с точки зрения общественной пользы, то тем с большим правом подобную точку зрения он мог применить к государству. И действительно, Свифт удивительно просто обнаруживает все те заблуждения, на основании которых толковали тогда о божественном начале, абсолютных прерогативах, неограниченном праве верховной власти английских королей. Революция 1688 года смела прочь все эти

понятия и поставила на их место верховное право народа. Он является сторонником революции, защищает ее теорию и предполагаемое ею право граждан оказывать активное сопротивление. Все это теперь для англичан простые трюизмы, но в ту пору, когда писал Свифт, эти начала свободного государственного устройства подвергались жестоким нападкам. Торийская теория непротивления или пассивного повиновения страшит его более, чем противоположные крайности вигов. Анархия лучше, говорит он, чем деспотизм: «дикарь чувствует себя счастливее, чем раб, прикованный к веслу». В этом же трактате ясно высказывается, что Свифт разумеет под свободой, защитником которой он выступает. Для него действительная свобода – это дыхание самой жизни, ее можно внешними формами укреплять или подрывать, но не созидать. Добиваясь свободы, он добивался, собственно, возможности пропагандировать свои убеждения, свободно вербовать адептов, так как он сознавал свое интеллектуальное преимущество. Свобода же, как ее понимают политиканы, представлялась ему обыкновенно в виде господства демагогов или олигархии, а то и другое он ненавидел даже более, чем деспотизм неограниченного повелителя. Поэтому, хотя он и говорит, что борется против тирании, но в действительности борется против партийного господства вигов, против всех их софизмов и обманов, против их претензий считать себя настоящими защитниками свободы, которую они, по пониманию Свифта, наоборот, разрушали.

Мог ли Свифт, придя окончательно к таким мнениям и высказав их в целом ряде памфлетов, оставаться в лагере вигов? Он всегда – и до, и после – считал себя настоящим вигом и говорил, что нападает на них, так как хочет защитить истинно виговские убеждения, но с той партией вигов, какой она существовала в то время, он имел уже, несомненно, мало общего. Действительная разница между вигами и тори того времени de facto заключалась в том, что первые представляли собою средний класс общества, «денежных людей» и диссидентов, а вторые – поземельных собственников и церковь. Что же касается до различных мероприятий и мнений, то каждая из этих партий могла при случае отстаивать то, что, казалось бы, составляло достояние противной стороны. Речь шла не столько о принципиальных различиях, сколько о борьбе классовых интересов: эсквайр и священник – с одной стороны и торговец и банкир – с другой. Когда все это стало для Свифта ясно, то он не мог более колебаться: он должен быть там, где признают интересы церкви; к тому же он ненавидел «денежных людей».

В это время в обществе происходило сильное брожение; все

явственнее и явственнее раздавался призыв: «Церковь в опасности!» Но виги были еще сильны… Победы Мальборо в войне за испанское наследство, хотя и сопряженные с большими жертвами, льстили народному самолюбию. А Мальборо был виг, да и сама война была делом вигов; естественно, что они не упускали случая эксплуатировать в интересах своей партии военные удачи. При таких-то условиях, Свифт, убедившись, что в деле о «десятинах» и «первинках» его просто-напросто обманывают, что виги явно оказывают покровительство диссидентам, и, разочаровавшись получить более удовлетворяющее его место, решил покинуть Лондон и возвратиться в Ларакор. Он решил покинуть своих политических друзей – и он покинул их, когда они торжествовали свои победы. Крайне несправедливо поэтому, говорит Лесли Стивн, считать Свифта ренегатом; напротив, «…я думаю, – продолжает он, – что немногие люди обнаруживали когда бы то ни было более упорную приверженность к принципам, с которыми они выступили в жизнь».

В 1709 году Свифт вернулся в Ларакор. Отсюда он писал раза два лорду Галифаксу, напоминал о его обещаниях, указывал на освободившиеся места пребендария в Вестминстере и епископа в Корке и просил его содействия. Но все было тщетно. Неужели ему навсегда суждено схоронить себя в Ларакоре, в этой ненавистной Ирландии? Гордость его страшно страдала. Он был, как говорится, рожден для власти, его грызла потребность руководить и повелевать людьми, – а он осужден теперь, в пору полных сил (ему было только 42 года), на жалкое прозябание… Его «заклятый дух» возмущался, и негодование против партии, не сумевший оценить его, росло в ларакорском уединении. К тому же вице-королем Ирландии тогда был ненавистный Уортон, которого он впоследствии так беспощадно осмеял. Но в то время, как Свифт, разошедшись с вигами, предавался самотерзаниям, в Англии совершались события, быстро изменившие взаимное положение двух враждующих партий.

Нескончаемая война за испанское наследство тяготила всех; она стоила очень дорого; налоги возросли непомерно; цены на необходимые предметы потребления также; земледелие переживало тяжелый кризис; недовольство войной чувствовалось уже даже в рядах вигов, – но оно пока еще недостаточно назрело. Зато церковный вопрос вдруг обострился и неожиданно привел к крушению партию вигов в тот момент, когда она считала себя в полной силе. Политика министерства по церковным вопросам, как было замечено выше, порождала повсеместно среди правоверных приверженцев епископальной церкви большое недовольство.

Недоставало лишь повода, чтоб оно вырвалось наружу. Он скоро явился. Это были речи священника Сачеверелля, призывавшие общество обратить внимание на положение церкви, речи пылкие, горячие, хотя и недостаточно разумные. Они произвели большой эффект. Министерство, считая себя достаточно сильным и желая воспользоваться случаем, чтобы запугать своих врагов, решило преследовать Сачеверелля в судебном порядке. Но оно создало таким образом только мученика за церковь в глазах массы и тем погубило себя. Популярность неизвестного до тех пор священника приняла неожиданные размеры, и стало открыто проявляться негодование против министров. К королеве обращались с петициями встать на защиту религии. В это же время Мальборо своими неумеренными требованиями подорвал кредит, которым он пользовался, и герцогине Мальборо, первой советнице королевы, пришлось стушеваться. Судьба виговского министерства была решена. Собравшийся парламент представлял торийское большинство и во главе управления страною с 1710 года стал тори Гарлей, впоследствии граф Оксфордский.

Годы господства тори (1710—1714) были вместе с тем и годами наибольшего развития политической деятельности Свифта. Он не занимал никакого – ни большого, ни маленького – формального поста; он был, если хотите, все тем же приходским священником, – хотя и отказался уже от места в Ларакоре, – но не раз в критические минуты руководил политикой министерства, радикально изменял в желаемую сторону общественное мнение и de facto стоял во главе общественных дел.

Период выжидания кончился. В сентябре 1710 года Свифт отправляется в Англию снова с поручением, на этот раз уже от всей епископской скамьи, ходатайствовать о возвращении конфискованных «десятин» и «первинок». Он лично не знал ни Гарлея, ни Сен-Джона (Болингброка), в руках которых теперь находилось министерство; ему не хотелось ехать в Англию, и он решил не оставаться там дольше, чем потребует возложенная на него миссия. Виги встретили его с распростертыми объятиями, говорит он Стелле в своем «Дневнике», и готовы были ухватиться за него как утопающий за соломинку. Выдающиеся представители партии, бывшие министры, принимают его у себя, извиняются за прошлые недоразумения, приглашают обедать. Галифакс предлагает выпить за возвращение вигов к власти, он соглашается, но прибавляет: «…и за преобразование в их среде». Он по-прежнему поддерживает отношения с выдающимися писателями-вигами – Аддисоном, Стиллем – и принимает участие в газете «Болтун». Но он уже видит, что с вигами у него, собственно, все порвано и что не

подвертывается только случая, который сблизил бы его с тори. Такой случай скоро представился. «Сегодня, – пишет он в „Дневнике“, – меня познакомили частным образом с Гарлеем; он отнесся ко мне с величайшим вниманием и любезностью и назначил время и час… когда я могу изложить ему свое дело». Через несколько дней он снова виделся с Гарлеем, и миссия его была почти достигнута: министр обещал представить все дело на рассмотрение королевы; вопрос оставался открытым только относительно того, как скоро это возможно будет сделать. Затем он познакомился с Сен-Джоном и другими выдающимися тори. С этих пор он открыто становится на сторону последних и подвергается упрекам со стороны своих прежних друзей, с которыми еще поддерживает отношения. Гарлей несколько месяцев спустя говорил ему, что они, тори, боялись только одного его и решили привлечь его на свою сторону. Оказалось, что для этого не требовалось особенных усилий, так как все симпатии Свифта были уже на их стороне. Но кто кого завоевал – министерство Свифта или Свифт министерство – это еще вопрос.

В чем же состояла задача этого своеобразного министра без портфеля? Он должен был защищать администрацию новым оружием, получившим уже тогда большое значение, – пером. А кто мог и вплоть до настоящего времени может сравниться в искусстве владеть этим оружием со Свифтом? Гарлей и Болингброк, последний сам блестящий писатель, прекрасно понимали это и, принимая в свою среду «сумасшедшего попа», платили лишь должное силе ума и дарования. И Свифт относился к оказываемому ему вниманию как к должному, держался как равный с равными и с крайним негодованием встречал малейшее посягательство на свое достоинство. Однажды Гарлей вздумал его отблагодарить за некоторые услуги, прислав 50 фунтов. Свифт пришел в бешенство, и потребовалось немало усилия и заискиваний, чтобы примирить его с первым министром. В другой раз Болингброк позволил себе некоторую холодность в обращении с ним; Свифт тотчас же предупредил его, что если ему нездоровится, то он должен сказать об этом своим друзьям, а не заставлять их теряться в догадках относительно причины его сухости: он «едва ли бы снес подобное отношение даже со стороны коронованной особы». Свифт был допущен в самый высший круг; он присутствовал на частных совещаниях, происходивших между Гарлеем, Болингброком и Гаркуром, державшими в своих руках все дела. Такое доказательство внимания он понимал, признавал и принимал. «Они называют меня, – пишет он в „Дневнике“, – попросту Джонатаном, и я уверен, сказал я им, что вы и оставите меня таким же Джонатаном, как нашли, и что я не знаю такого

министерства, которое сделало бы что-нибудь для тех, в дружбу с кем оно вступает; так и вы поступите, в этом я уверен; но это меня мало заботит».

С конца 1710 года Свифт начинает писать для торийской газеты «Examiner» («Исследователь») и работает в ней до середины следующего года. Никогда защита администрации не велась с большим умением и с большим успехом. Положение тори было довольно затруднительным. Им была навязана война, затеянная вигами, и Мальборо, покрывший славой английское оружие, являлся их естественным врагом; против тори были и «денежные люди» что угрожало затруднениями в финансовых делах; наконец, между самими ими не было полного согласия, и группа «диких тори», образовавшая «Октябрьский клуб», не раз пыталась увлечь министерство на путь всяческих крайностей. Приходилось дискредитировать вигов в общественном мнении и поддерживать единение в своих рядах. Свои статьи Свифт направлял как против принципов, так и против отдельных лиц. Это были, конечно, чисто боевые статьи, скорее дела, а не слова, а потому как произведения пера они не представляют теперь интереса. Свифт не заботится ни о красноречии, ни о логике, даже правда его мало беспокоит; ему нужно метко направленным ударом поразить врага, и он пускает в ход все, осмеивает и оплевывает, издевается и топчет в грязь и, в конце концов, побеждает. Он доказывает, что у вигов вовсе нет никаких принципов, что место принципов занимают здесь лица и что всякий, признающий павшее министерство, считает себя вигом. «Денежным людям» он противопоставляет земледельческий класс и корит вигов за то, что они сыграли на руку разным спекулянтам и банковым дельцам и принесли в жертву этим последним интересы и благосостояние страны. Но главной опорой вигизма был все еще Мальборо. Тори не могли чувствовать себя в безопасности, пока продолжалась война и пока во главе армии стоял победоносный Мальборо. Свифт уже в «Examiner'е» нередко делал вылазки против него, не называя, однако, прямо по имени, но описывая так обстоятельно его характерные слабости, что каждый без труда мог угадать, о ком идет речь. Это были маленькие прелюдии к большому выходу – к его знаменитому памфлету «Поведение союзников».

В пылу борьбы Свифт не забывал и об обществе. К тому же этого дерзкого и резкого, но вместе с тем остроумного и насмешливого человека принимали повсюду охотно. Раньше, часто совершая довольно продолжительные путешествия пешком, он останавливался в самых дешевых гостиницах, знакомился с жизнью простого народа, не гнушался вступать в разговоры с трактирной прислугой и всякого рода подозрительным людом, – он присматривался к одной стороне жизни.

Теперь он мог наблюдать другую. Перед ним развертывалась во всем своем мишурном блеске, скрывавшем прогнившую сердцевину, придворная жизнь. Здесь собирался «цвет» английского общества того времени, «блестящего» века Людовика XIV. Но Свифт обладал слишком проницательным умом, чтоб этот «блеск» мог укрыть от его глаз действительные мотивы, приводившие в движение весь этот великосветский круг. Рубище и золотом расшитая одежда равно ничего не значат, если человек заглядывает в ту глубину души, какая открывалась перед Свифтом. Впоследствии в «Путешествиях Гулливера» он изложил с убийственной аккуратностью и обстоятельностью все, что он наблюдал и изучал теперь… А пока он развлекался вместе с этим шумным обществом, участвовал в прогулках, раутах, охотах и так далее. Некоторое время он жил в окрестностях Лондона, так как здоровье его начало расстраиваться, но ежедневно посещал город и своих друзей.

Между тем министерство уже вело тайные переговоры о заключении мира, сопровождавшиеся целым рядом интриг и скандалов, подавших повод обвинять впоследствии торийских министров в измене.

Много из того, что происходило в действительности, Свифт не знал вовсе, – но, убежденный в настоятельной необходимости мира, он стоял всегда на страже министерства и ловко парировал удары противников. Защищая и защищаясь, он в то же время не терял случая и атаковал. Памфлет «Поведение союзников» представляет собою решительную атаку, перед которой не устояли противники.

Свифт силою своего гения среди разных скандальных случайностей не только возбудил общественное мнение, но и резко повернул его от войны к миру и доставил полное торжество тори. Благодаря своему положению, он мог воспользоваться официальными документами. И он черпает из них необходимые факты, проливает свет на мотивы, руководившие людьми, желавшими войны, выдвигает аргумент за аргументом так, что они производят подавляющее впечатление, и заставляет читателя признать свой вывод неизбежным и единственно верным. Весь памфлет дышит страстным негодованием и вызывает такое же чувство в читателе. Ввиду всенародного бедствия Свифт укоряет безумцев, которые считают «эхо лондонской кофейни» за «голос всего королевства». Бедствие это длилось слишком долго: мы вели, говорит он, две войны, из которых каждая продолжалась по десять лет, за интересы, нам вовсе чуждые; если война продлится еще пять лет, мы будем окончательно разорены. Мы великодушно стали во главе дела, тогда как нам в самом крайнем случае не следовало выходить из роли поддерживающих союзников; мы сражались,

когда вовсе не следовало; мы уклонялись от решительных действий, когда наши интересы поставлены были на карту; мы дозволяли нашим союзникам нарушать принятые на себя обязательства; мы продолжали войну и не остановились даже перед тем, чтобы заложить всю нацию, сделав позорный заем в 50 миллионов; мы брали города – но каждый из них стоил нам шести миллионов и доставался не нам, а союзникам; мы одерживали блистательные победы – но они приносили нам лишь пустую славу… Далее он с большим искусством показывает, что народ поддерживал войну лишь по своему ослеплению, находясь в состоянии какой-то безумной летаргии, – но что теперь настало время пробудиться и освободиться от рабского подчинения лживым советникам. Затем он нападает на Мальборо, обвиняя его в хищничестве; на капиталистов и банковых дельцов, которые разжирели на народном бедствии; на вигов, продажность и своекорыстие которых и есть причина всех бед. Памфлет имел необычайный успех. Да это был, собственно, не памфлет, а горячий манифест, написанный, как это всяким чувствовалось, по внушению министерства, с глубоким знанием всех обстоятельств дела и с несравненным искусством. Опубликованный 27 ноября, он уже 1 декабря вышел вторым изданием, которое разошлось в четыре часа. В течение каких-нибудь двух месяцев было продано 11 тысяч экземпляров. Не нужно забывать, что все это происходило в начале XVIII века, когда публицистика только зарождалась. Мальборо, герой войны, находился в это время в Лондоне и возглавлял вигизм. При дворе велись усиленные интриги против тори; в палате лордов образовалось даже незначительное большинство, поддержавшее поправку вигов в адресе королеве по поводу мира. Положение становилось опасным. Свифт уже склонен был считать дело проигранным и испытывал крайне угнетенное состояние. Но его друзья-министры сохраняли полное спокойствие, даже равнодушие, что его еще больше раздражало. Дело, однако, было сделано: Мальборо потерял свою популярность, парламентская комиссия потребовала от него отчета в его действиях, а затем он был отстранен от занимаемых должностей и лишен отличий.

В то же время в верхнюю палату вступило двенадцать вновь пожалованных лордов, и торийское большинство было обеспечено. Свифт и тори торжествовали. Приходский священник без места находился теперь в апогее своего могущества. Он оказывает массу услуг лицам, обращающимся к нему с разными просьбами; протежирует начинающим литераторам, доставляет места священникам и так далее. В кофейной все ему кланяются, рассказывает Кеннет в своем дневнике, в приемной он –

главное лицо, все к нему обращаются и советуются, он – точно министр по части прошений. Мы не станем перечислять здесь, чтобы не пестрить страницу, имен тех знакомых и незнакомых, приятелей и неприятелей, которым он оказывал в разное время те или другие услуги, – скажем только, что они многочисленны. С лицами, принадлежащими к высшему обществу, он по-прежнему держится гордо и высокомерно. Так, когда герцог Шрусбери появился в первый раз на их субботних обедах, он заметил Сен-Джону, что не желает видеть в своем обществе незнакомое лицо… Герцогу Беккингэму, высказавшему желание познакомиться с ним, он просил передать, что герцог еще недостаточно предупредителен по отношению к нему и что он требует тем большей предупредительности, чем выше положение человек занимает в обществе.

Свифт, однако, был не из числа людей, самодовольно успокаивающихся, если они добились успеха. Тори торжествовали, но он хотел дальнейшего развития и осуществления их программы; его беспокоила и раздражала медленность и нерешительность министерства; он замечал уже признаки несогласия между двумя главными лицами министерства, его друзьями – Гарлеем и Болингброком; мало-помалу он стал убеждаться, что и его друзья борются из-за положения, а не за принципы. Все это действовало угнетающе на его настроение и питало то презрение к человеческой природе, тот цинизм, который в последний год жизни принес свои обильные плоды. Теперь же он чувствовал себя связанным с делом партии, так гениально защищаемой им, и ему оставалось только содействовать ее дальнейшим успехам. И он с горячностью брался за это дело – но всякий раз наталкивался на указанное выше непреодолимое препятствие. Для человека со складом характера Свифта подобное положение становится невыносимым. Внешние условия благоприятствовали, однако, временному затишью партийной борьбы; центр политических интриг был перенесен теперь в Утрехт, где вырабатывались условия окончательного соглашения между заинтересованными державами. Наконец, в апреле 1713 года в Англию пришли вести о заключенном мире. Немного раньше Свифт писал по этому поводу архиепископу Кингу: «Мы сделали все, что могли. Об остальном пусть заботятся потомки».

Настало время подумать Свифту и о своем личном положении: теперь он мог потребовать вознаграждение за услуги, оказанные им. Его беспокоило будущее; несогласие среди министров могло повести к торжеству вигов, на снисхождение которых к себе он, конечно, не мог рассчитывать. Он должен получить независимое положение; он заслужил

его. Министры медлили; им, очевидно, не хотелось расставаться с ним; они хорошо знали, насколько обязаны ему своим успехом и какою силою располагают, удерживая его при себе. Свифт настаивал; он перестал писать, пока его требование не будет удовлетворено. Королева была настроена против него; она помнила «Сказку о бочке» и считала его безбожником. «Виндзорское пророчество», в котором Свифт насмеялся над герцогиней Сомерсет, придворной фавориткой, также не прошло для него даром. Переговоры о месте тянулись долго и сильно раздражали Свифта; «Если министры бессильны разубедить королеву в ее предубеждении, – пишет он в дневнике, – то я хочу знать, по крайней мере, это». В конце концов ему пришлось примириться с местом декана при церкви Св. Патрика в Дублине. Конечно, этого было слишком мало в сравнении с тем, чего он хотел и рассчитывать на что имел полное право, – но выбирать не приходилось. Ирландию он не любил и всегда считал ее местом своего изгнания и ссылки. И вот теперь, после того, как он боролся в первых рядах, даже во главе тори, и доставил им победу, судьба, точно насмехаясь, улыбнулась ему только злополучной Ирландией… Легко понять, какие чувства грызли гневное сердце этого несокрушимого борца, когда он покинул Англию.

Вскоре, однако, министры, раздор между которыми все усиливался, почувствовали, что они лишились человека крайне необходимого. Им нужно было не только его перо, но и он сам, его примиряющее влияние. Несогласия между Гарлеем и Болингброком угрожали гибелью торийскому кабинету. Едва Свифт успел прибыть в Дублин, как он уже получает письмо с выражением сожаления, что его нет в Лондоне, что он был бы крайне полезен в данный момент, что только он мог бы убедить министров во всех печальных последствиях их несогласия. Вслед за тем ему уже пишут прямо: «Лорд казначей желает, чтобы Вы поспешили как можно скорее сюда: Вы крайне нужны нам». С Гарлеем Свифт был связан не только политикой, но и чувством глубокой дружбы; с Болингброком он был так же близок. Поэтому, забывая о своих личных обидах, он решил еще раз прийти на помощь своим сотоварищам. Кроме того, Дублин встретил своего нового декана пасквилями, уличными насмешками и свистом, так что он на первых порах даже выехал из города. Через несколько месяцев Свифт был уже в Англии и снова ринулся в партийную борьбу, но на этот раз он уже не имел такого успеха. Один из его памфлетов носил личный характер, – он был направлен против Стилля, а другой, общего характера, – против вигов («Общественный дух вигов»). В этом последнем Свифт среди прочего жестоко напал на шотландских

представителей в парламенте; последние, задетые за живое, оскорбились и обратились in corpore[5] с просьбой к королеве наказать виновного в дерзком поношении народного достоинства. Гарлей, действовавший вообще двусмысленно и нерешительно, чтобы замять это дело, поспешил издать прокламацию, в которой предлагалось 300 фунтов вознаграждения тому, кто откроет автора преступного памфлета, и привлек к ответственности издателя и типографщика. Он, конечно, прекрасно знал, кто автор, и передал даже через Свифта 100 фунтов для вознаграждения указанным лицам, служившим лишь простым орудием. Эта гроза, однако, бесследно прошла над головой Свифта, в то время как его противник, некогда друг, Стилль жестоко поплатился за свои несдержанные нападки на тори в парламенте, членом которого тогда состоял: он был изгнан из палаты общин. Главные предметы партийных споров составляли теперь условия Утрехтского мира, торговый договор и вопрос о престолонаследии, так как королева Анна доживала свои последние дни и, за отсутствием прямого наследника, призрак претендента (Стюарта) снова стал смущать общественное мнение. Хотя общие условия складывались неблагоприятно для тори, так как их, во-первых, всегда подозревали в якобитских интригах, а во-вторых, девиз общественного мнения был уже не «Сачеверелль и церковь», а «торговля и шерсть», – тем не менее, самое больное место торийского кабинета составляли несогласия между Гарлеем и Болингброком. Свифт деятельно принялся за их примирение. В последний раз они собрались в доме леди Мэшэм. Свифт говорил: «Если вы придете к соглашению, все остальное можно поправить в две минуты; если же нет, то министерство погибнет через два месяца». Болингброк соглашался с ним, а Гарлей увертывался от прямого ответа, говоря: «Все пойдет хорошо», и звал его обедать к себе на следующий день. Отчаявшись, Свифт сказал им, что он не желает быть очевидцем неизбежной катастрофы и уедет.

Он был слишком горд и самолюбив для того, чтобы оставаться и спокойно созерцать торжество своих врагов. Он удалился временно в Беркшайр и здесь, отказавшись от всякой политики и выжидая дальнейших событий, занимался чтением, предавался печальным размышлениям, гулял, отдыхал и подумывал об обратном возвращении в Ирландию. В этот приезд он сошелся еще теснее со своими литературными друзьями – Арбэтнотом, Попом, Гейем. Не раз ему приходила в голову мысль, ввиду столь печального конца всех его усилий: зачем он променял литературные занятия на партийную борьбу, – и он сожалел.

Окончательная развязка не заставила себя ждать. Предсказание

Свифта сбылось: министерство рухнуло. Сначала Гарлей был смещен – и Болингброк, по-видимому, торжествовал; но через несколько дней смерть королевы положила конец господству торийской партии. Торжество вигов сопровождалось жестоким преследованием тори. Гарлей был арестован и заключен в Тауэр, Болингброк бежал во Францию, Ормонд также. Свифт заблаговременно удалился в Дублин и здесь ожидал своей участи. Несмотря на то, что ему также угрожала серьезная опасность быть арестованным, он не скрывал своей оппозиции новому порядку вещей, переписывался с опальными друзьями и даже предлагал Гарлею разделить его участь.

Глава IV. Свифт как ирландский патриот

Положение Ирландии. – Свифт в Дублине. – Его взгляд на положение Ирландии. – «Предложение о всеобщем употреблении изделий исключительно ирландского производства». – Патент, выданный Вуду. – «Письма суконщика». – «Скромное предложение» и другие памфлеты, относящиеся к Ирландии. – Поездка в Англию. – Свидание с Уолполом. – Крушение последней надежды и возвращение в Ирландию.

Ирландия, этот вечный пасынок «коварного Альбиона», находилась в эту смутную эпоху междоусобиц в крайне плачевном, ужасающем положении. Ожесточенная борьба между двумя народностями – англосаксами и потомками кельтов, обостряемая религиозным разногласием, шла не на жизнь, а на смерть, и Ирландия представляла картину полного опустошения. Наиболее деятельная и предприимчивая часть населения покинула злополучный остров и искала приложения своих сил и способностей в чужих странах.

Целые толпы устремились во Францию, где формировалась ирландская бригада, и храбро дрались под французскими знаменами. Но тем хуже становилось положение остававшихся на родине: предоставленные самим себе и лишенные поддержки наиболее энергичных из своих соотечественников, они не могли противостоять насилию и опускались все ниже и ниже. Свирепая суровость законов, направленных против католиков, сокрушала последнюю их энергию. Положение ирландских протестантов, представлявших собою победителей, было тоже не особенно завидным. На них смотрели, как на колонистов, выселявшихся из Англии для того, чтобы лишь теснее связать непокорную страну с метрополией. Понятно, что интересы их принимались во внимание лишь настолько, насколько они совпадали с интересами самой Англии, а во всем остальном их так же игнорировали, как и туземцев-католиков. Малейшее проявление духа независимости подавлялось и жестоко преследовалось. Ирландия имела свой парламент, – но вся роль и значение его сводились к тому, что он принужден был заниматься простой регистрацией актов и декретов, присылаемых из Англии; случалось, что у местного парламента не спрашивали даже мнения относительно мер, имевших чисто местный характер. Home rule[6], которого теперь добиваются ирландцы, тогда существовал, но он не имел почти никакого реального значения.

Посылаемые из Лондона администраторы заботились лишь о том, чтобы нажиться, все наиболее доходные места были в их руках. Народное богатство, попавшее к ним в руки, расточалось за пределами Ирландии: оно вывозилось в Англию и здесь проживалось. Целая треть земельной ренты, собираемой в Ирландии, погибала таким же образом совершенно бесследно для страны, и страшная бедность царила повсюду. В сферах торговой и промышленной Англия также не забывала своих интересов. В 1663 году в угоду английским лендлордам, желавшим уничтожить своих конкурентов, был издан закон, которым запрещалось вывозить из Ирландии в Англию рогатый скот. А между тем скотоводство составляло одну из наиболее цветущих отраслей местного сельского хозяйства. Затем новый закон отнял у Ирландии право вести торговые сношения с колониями. Вместо рогатого скота ирландцы стали разводить овец. Условия, казалось, благоприятствовали развитию этой отрасли производства. Шерсть, вырабатываемая здесь, отличалась хорошими качествами, содержание овец стоило дешевле, а налоги были легче, чем в Англии; парламент вначале не только не противодействовал, но даже поощрял ирландских шерстепромышленников. Однако такое благоволение продолжалось недолго.

В 1694 году был опубликован билль, по которому ирландские шерстяные изделия запрещалось вывозить не только в Англию, но и вообще куда бы то ни было. Эта жестокая мера имела самые ужасные последствия: их даже трудно представить себе во всей полноте. Главная промышленность целой страны была сметена и уничтожена одним росчерком пера, а население, кормившееся от нее, разорено и брошено в объятия голода. Снова целые тысячи несчастного люда направились в Германию, Францию, Испанию, Америку. В Ирландии наступил хронический голод. Население отказывалось платить подати и налоги. Общественные доходы иссякли. Развилась ужасающая контрабандная торговля с Францией, что облегчало несколько положение, но вместе с тем приучило народ к полному пренебрежению законами. Всей промышленности страны угрожало окончательное расстройство. Действительно, если английский парламент посягнул на одну из самых крупных отраслей производства, – посягнул, не справляясь даже с мнением ирландского парламента, – то где была гарантия, что подобная участь не постигнет и всякое другое производство? Для этого достаточно было, чтобы английские промышленники усмотрели в нем опасную конкуренцию для своих предприятий, и дело обречено было на верную гибель. При таких условиях у всякого, понятно, опускались невольно руки.

Разорив шерстяную промышленность в Ирландии, английский парламент не прочь был оказать теперь поддержку местной льно– и пенькопрядильной. Так, в адресе, вотированном по этому поводу, он просил короля уничтожить первую и оказать содействие второй, в ответ на что Вильгельм заявил, что он употребит, со своей стороны, все усилия, чтобы удовлетворить как одному, так и другому желанию парламента. Но эта поддержка походила скорее на насмешку над угнетенным народом. Указанные две отрасли промышленности для Ирландии имели далеко не одинаковое значение: шерстяная, как замечено выше, составляла одну из главных отраслей местного производства, – тогда как льняная была развита очень слабо; вывоз льняных изделий в 1700 году достигал всего лишь 14 тысяч фунтов стерлингов. Понятно, что одна мера не уравновешивалась другой, не говоря уже вообще о безрассудстве делать подобные насильственные компенсации: разрушать цветущее дело и насаждать искусственно не имеющее будущности.

В 1714 году, после того, как торийское министерство потерпело полное поражение, Свифт отправился в Ирландию и до конца жизни своей оставался здесь в качестве декана при церкви Св. Патрика в Дублине. В течение многих лет он не принимает никакого участия в политических делах, но тем сильнее гложет его сердце ненависть к торжествующим вигам, во главе которых стоял тогда Уолпол. Свифт никогда не любил Ирландии и ирландцев, и ему в голову не приходило взять на себя защиту угнетенного народа, и если он выступил в конце концов в роли ирландского патриота и борца за вольность ирландского народа, то к этому привела его ненависть против вигов и борьба с министерством Уолпола. Вначале он хотел отстаивать лишь привилегии ирландской церкви против стремления администрации превратить ее в послушное орудие своих предначертаний. Но скоро убедился, что оставаться на почве одних только церковных интересов невозможно, что речь идет о гораздо более существенных вопросах и что для успешной борьбы с жестокой политикой английского министерства он должен стать на народно-национальную почву. Конечно, он ясно видел бедственное положение разоренного народа. «Англичане, – говорит Свифт в одном письме, – должны стыдиться упрекать и обвинять ирландцев в тупости, невежестве и трусости. Все это – результаты рабства. Ирландский крестьянин отличается большим здравым смыслом, лучшим характером, более веселым нравом, чем английский; но масса всякого рода угнетений, тирания лендлордов, фанатизм католических священников и всеобщая нищета – разве этого мало, чтобы сокрушить и унизить всякий народ, даже с самыми лучшими задатками?»

Главное зло он видит в своекорыстной политике министерства. «Несмотря на то, что колонисты в Ирландии – те же англичане и пользуются правами английского гражданства, интересы их приносятся в жертву метрополии, торговля самым произвольным образом насилуется, все доходные должности замещаются людьми приезжими, в силу чего местная аристократия, лишенная возможности увеличивать свои доходы службой, налегает на фермеров и требует такой непомерно высокой ренты, что последние лишены возможности одевать своих детей в сапоги и чулки, есть мясо, пить что-либо, кроме кислого молока, разведенного водою!.. Вся страна представляет одну сплошную картину нищеты и опустошения и может поспорить в этом отношении даже с пустынной Лапландией; законы издаются без согласия нации, суды приходится искать за многие сотни миль, правители не питают никаких симпатий к управляемым… Одним словом, всё, что только может сделать народ несчастным и презренным, соединилось, чтобы обрушиться на бедную Ирландию». Так Свифт описывал положение страны в письме, прочитанном частным образом Уолполу. Но почему он только теперь обратил внимание на все эти народные бедствия, почему он раньше не замечал их? Ведь они существовали в равной мере и тогда, когда он чуть ли не руководил политикой министерства! Причины ясны. Партийная борьба захватила Свифта всецело: она закрыла, она же и раскрыла ему глаза; а раз внимание его было возбуждено – сила гения увлекала его, быть может, даже гораздо дальше, чем он сам сознательно допускал это. Его ближайшие родные были в толпе тех жадных англичан, которые нахлынули в Ирландию в надежде создать свое благополучие на народном бедствии. Свифт загладил их прегрешения. Он пробудил в рабски забитом народе сознание собственной силы и собственного достоинства, соединил и воодушевил разрозненных в своей приниженности ирландцев одним чувством, одной мыслью и двинул их на борьбу за свою независимость. Великий гений негодования оплодотворил собою покорную пассивность, и она сбросила оцепенение и поднялась как один человек…

Целых шесть лет Свифт провел в молчании, занятый выяснением своих личных отношений с двумя женщинами, Стеллой и Ванессой, обострившихся как раз в это время, и делами по деканству. Предшествующая чрезмерно деятельная жизнь как бы истощила его силы, и нужно было время, чтобы гнев снова переполнил его душу и вырвался с неудержимой силой. Первый его памфлет на защиту Ирландии относится к 1720 году – это «Предложение о всеобщем употреблении изделий исключительно ирландского производства». Как показывает само заглавие,

памфлет направлен против алчных английских промышленников, стремившихся при поддержке министерства заполонить ирландские рынки товарами своего производства. Свифт предлагает ответить на эту политику полным отказом покупать товары, привозимые из Англии, и составить всеобщий союз для употребления исключительно местных изделий. Памфлет дышит благородным негодованием, которое, умышленно сдерживаемое, как бы прорывается в коротких, сильных, бьющих точно молотом фразах. Свифт не заботился о том, правильны или нет политико-экономические основания, служащие ему исходной точкой, – да об этом вообще тогда еще мало знали. Если бы ему стали указывать на ошибочность его политико-экономических взглядов, выраженных как в этом памфлете, так и в «Письмах суконщика», он, вероятно, ответил бы, что дело вовсе не в том, ошибочны они или нет, а в том, что никакие политико-экономические истины не могут быть приложимы к Ирландии, так как здесь царит произвол и тирания центрального правительства. Народ порабощен лендлордами, – но сами лендлорды порабощены эгоистическим правительством, а раб имеет природную склонность быть тираном по отношению к человеку, находящемуся от него в зависимости. «Я не знаю (а может быть, впрочем, знаю слишком хорошо), – говорит насмешливо Свифт, – как это происходит, что рабы обнаруживают прирожденное расположение к тирании; так, когда выше меня стоящие отвешивают мне подзатыльник, то я вымещаю свою обиду с ушестеренной силой на лакее, который, быть может, вполне честный и старательный слуга». Замечание вполне верное: такова природа человеческая. С нею надо считаться, и Свифт считается: он направляет свой гнев на тех, кто в данном случае щедрою рукою расточал подзатыльники…

Памфлет был объявлен преступным: против автора и издателя возбуждено преследование, – но автор был, как и всегда, неизвестен, издателю же пришлось попасть на скамью подсудимых. Однако памфлет произвёл свое действие: присяжные не находили преступления и отказывались вынести обвинительный приговор. Как ни распинался главный судья лорд Уайтшед, как он ни клялся, что тайным умыслом автора было сыграть на руку претенденту, присяжные оставались при своем; девять раз он отсылал их в совещательную комнату и продержал целых 11 часов, прежде чем успел добиться от них «специального приговора», в силу которого дело считалось неоконченным и подлежало вторичному рассмотрению. Однако общественное мнение было так возбуждено и настроено в пользу несчастного издателя, что власти решили прекратить его вовсе. Свифт одержал полную победу, – но еще большая

ожидала его впереди.

В это время в Ирландии ощущался большой недостаток в медной монете, что значительно затрудняло разные мелкие сделки. Поэтому правительство выдало патент некоему Вуду на чеканку 108 тысяч фунтов мелкой монетой. Сама по себе благодетельная мера эта была так скверно обставлена, что не замедлила вызвать против себя общественный протест. Во-первых, Вуд пользовался в Ирландии нехорошей репутацией. Во-вторых, сумма 108 тысяч была слишком велика, рассчитанная, очевидно, просто на то, чтобы от нее могли поживиться многие; действительно, герцогиня Кендаль за содействие получила от Вуда 10 тысяч фунтов, немало перепало и более мелкой сошке, наконец, сам Вуд рассчитывал положить себе в карман около 30 тысяч фунтов. В-третьих, правительство не сочло нужным даже запросить мнение ирландского парламента относительно меры, касающейся исключительно Ирландии; оно обошло даже вице-короля. Мало-помалу все эти обстоятельства выяснились; общественное мнение, приведенное в движение уже первым памфлетом Свифта, снова заволновалось: обе палаты парламента, съезды мировых судей, торговые гильдии и так далее обратились с адресами к королеве. Недовольство уже существовало, но оно не находило еще для себя достаточно сильного выражения. Нужно было мощное слово, которое превратило бы это недовольство в негодование, расшевелило бы робких и объединило бы всех одним чувством и одной мыслью… Кто же, как не Свифт, мог сказать такое слово? И он его сказал.

Первое «Письмо суконщика» к ирландскому народу появилось в 1724 году. В нем Свифт обличает вудовскую монету, ее низкопробность и полную негодность. Он обращается к лавочникам и рассказывает им, как они будут отдавать свое добро за ни на что не годный «шлак»; затем, не смущаясь противоречием, он обращается к крестьянам и рисует им картину, как они придут за покупками в лавку с этим «шлаком» и принуждены будут уйти ни с чем, – так как кто же согласится отпускать товар за негодную монету? Всем будет скверно; всякая производительная деятельность в стране приостановится. Затем он спрашивает: каким же образом такое всеобщее бедствие могло постигнуть страну? И отвечает очень просто: король от вас, ирландцев, слишком далеко и вы не можете обманывать его, как Вуд и его приятели. Затем он снова спрашивает: что же остается делать? И снова отвечает вполне определенно: «Откажитесь от этого брака (монеты). Пусть он будет проклят. Не бойтесь нарушить королевскую прерогативу: искаженная прерогатива не есть прерогатива, и признавать ее за таковую – значит лишь позорить короля. Вся нация как

один человек должна отвергнуть от себя этот негодный брак… Нет ничего позорного попасть в лапы льва; но кто, не потерявший еще образа человеческого, согласится покорно отдать себя живьем на растерзание презренной крысе…» Одним словом, Свифт предлагает применить к вудовской монете бойкот. Слова его падали на подготовленную почву; эффект их был громаден.

Правительство вынуждено было назначить особенную комиссию, которая, рассмотрев разные протесты против патента, обелила деятельность правительства, уменьшив лишь сумму, гарантированную патентом, до 40 тысяч фунтов. Не успел этот доклад комиссии прийти в Ирландию, как в дублинской газете было напечатано извлечение из него с комментариями, что Вуд, мол, готов обменивать свою монету не только на серебро, но и на всякого рода товар, и уменьшить начет, взимаемый им при обмене, до пяти с половиной фунтов, причем прозрачно намекалось, что всякое сопротивление будет считаться нарушением прерогативы и вызовет неизбежные репрессии. На эти намеки и угрозы Свифт ответил вторым «Письмом суконщика», адресованным к издателю газеты. Монета здесь уже отступает на второй план. Его воспламеняет гневом безрассудная дерзость предпочесть какого-то Вуда интересам целой нации. «Так вот наша хваленая свобода! – восклицает он. – Она предоставлена усмотрению и милости Вуда! И смеют еще говорить о прокламации (по поводу нарушения прерогативы)! Если она будет выпущена, то всякий честный гражданин должен игнорировать ее, относиться к ней, как к пустой фикции, грубой ошибке». «Еще раз, – обращается он ко всем, – стойте на своем, не уступайте – или же не тратьте понапрасну энергию и надевайте на себя покорно ярмо неизбежного рабства!»

Таким образом, когда пришел в Ирландию сам доклад комиссии, то общество было уже подготовлено, чтобы встретить его надлежащим образом. Народное мнение поддерживало Свифта. Негодование его заметно росло и вглубь, и вширь; речи его становились все зажигательнее; он забывал злополучного Вуда и переходил к вопросу неизмеримо более существенному. В третьем «Письме» он обращается к ирландской аристократии и провинциальному дворянству. Речь идет уже не о патенте, который безапелляционно осужден общественным мнением, а об общем положении… Интересы целого королевства принесены в жертву какому-то темному пройдохе. Как это могло случиться?.. Не рождается ли ирландец столь же свободным, как и англичанин? Каким же образом его лишили свободы? Разве у ирландского народа нет своего парламента, собрания представителей народа, своего тайного совета? Разве ирландцы не такие же

подданные своего короля, как и англичане? Не то же ли самое солнце светит им, и не тому ли самому Богу поклоняются они? Свободный в Англии, я становлюсь рабом через какие-нибудь шесть часов, переехав канал!.. Король гарантировал патент; он не может, говорят, отменить его. Хорошо. Тогда вы должны, защищая достоинство короля, сделать то, чего он сам не может, и единодушно отвергнуть всякий фартинг, сделанный из негодного шлака… В конце концов Свифт настаивает в этом письме на независимости Ирландии и указывает высшим классам общества, что их обязанность – отстаивать ее.

Четвертое, самое сильное «Письмо» адресовано всему ирландскому народу. В нем Свифт еще яростнее обличает беззакония и злоупотребления, допускаемые английским правительством, и еще сильнее взывает к борьбе за независимость. Каждая строка в этом письме – точно выхвачена из самой жизни и звучит, как тетива лука, натянутая страшной саркастической силой… «Ирландия зависит от Англии, – говорит он, – в таком же смысле, как и Англия от Ирландии. Пусть думает кто как хочет, я же, клянусь в этом здесь, как перед Богом, подчиняюсь только своему властелину королю и законам своей страны, но не английскому народу, ни в каком случае. Если бы он поднял восстание и провозгласил претендента, – то я с оружием в руках выступил бы против него и пролил бы последнюю каплю крови своей, защищая Ирландию… Угнетайте нас, если можете, но пока мы будем чувствовать в себе малейшую силу, мы будем свободны… Вы угрожаете, что расплавите свою монету и вольете ее нам в горло… Да, только таким образом, не иначе, вы заставите нас принять ее…»

Борьба достигла кульминационной точки. Правительство признало четвертое письмо преступным и издало прокламацию, в которой предлагало 300 фунтов тому, кто выдаст автора; издатель же немедленно был привлечен к ответственности. Свифт возмутился, отправился к вице-королю и осыпал его упреками за то, что он преследует ни в чем не повинного человека, осмелившегося печатать статьи, полезные для его родины. Издатель, однако, был предан суду, во главе которого находился все тот же Уайтшед. Общественное мнение стояло, конечно, всецело на стороне «суконщика»; поэтому присяжные вынесли оправдательный вердикт. Уайтшед передал дело на рассмотрение нового состава присяжных – результат получился тот же; мало того, присяжные усмотрели в полупенсах Вуда прямой вред, наносимый обществу. Правительство принуждено было сдаться и отменило патент. Свифт торжествовал полную победу, какая выпадает на долю немногих. Он стал кумиром народа.

Посыпались адреса от всяких обществ и собраний. Составлялись баллады в его честь и распевались на улицах. В каждой таверне собиралось свое общество для прославления «суконщика»; устраивались митинги, и целые толпы торжественно проходили по улицам, распевая песни, сложенные в честь его. Это было замечательное торжество поборника народных интересов. Когда он возвратился в 1726 году из Англии, его встретили колокольным звоном, пылающими кострами на улицах, и почетная охрана окружила его и сопровождала до места жительства. Города встречали его, как принца. Когда Уолпол заговорил о необходимости арестовать его, то ему ответили, что для этого потребуется отряд в десять тысяч солдат. В одной из своих сатир Свифт жестоко посмеялся над судебным следователем, неким Беттесуортсом. Тот воспылал гневом и, не добившись удовлетворения от Свифта, поклялся отомстить ему при первом удобном случае. Граждане Дублина тотчас же послали депутацию к декану и составили добровольный отряд для охраны его дома. Какую слепую веру питал народ к своему вождю, показывает следующий забавный рассказ Шеридана. Однажды большая толпа собралась наблюдать затмение; декан, любивший всегда пошутить, послал своего слугу объявить, что в силу его приказаний затмение отменяется. Толпа поверила и рассеялась.

Кроме «Писем суконщика», Свифт написал еще несколько трактатов и памфлетов, относящихся к Ирландии, интересами которой ему пришлось жить до конца своей жизни.

Из них отметим как наиболее выдающиеся: «Ответ на статью, озаглавленную: „Записка о бедняках, торговцах и рабочем люде Королевства Ирландии“», «Правила, не приложимые к Ирландии», «Беглый взгляд на положение Ирландии», «Предложение леди носить ткани ирландского изделия»; и особенного внимания заслуживает «Скромное предложение в пользу того, чтоб помешать детям бедных ирландцев быть в тягость своим родителям или своей стране и сделать их полезными для общества». Во всех этих трактатах Свифт проводит взгляды, уже нашедшие себе такое блестящее выражение в «Письмах суконщика»; все они направлены к одной цели, имеют один и тот же девиз, который он предлагает ирландцам написать на своем знамени: «быть независимыми». Свифт-юноша терзался своим унизительным положением и мечтал о личной независимости, – Свифт почти уже на склоне лет терзается не менее мучительно позорным рабством целого несчастного народа и призывает своими страстными речами к борьбе за независимость… Поучительная картина: годы лишь расширили его симпатии… Он мало говорит о программах и практических мероприятиях:

он видит, что зло лежит гораздо глубже, что никакие целительные снадобья не помогут, пока народ будет находиться в положении раба, что поэтому необходимо первым делом пробудить в нем дух независимости и любовь к свободе. Беспримерная в летописях истории сила негодования сделала свое дело: она зажгла в сердцах ирландцев то пламя, которое с тех пор не потухало уже никогда… Еще несколько слов – о «Скромном предложении». Основная мысль его ужасна в своей простоте. Ирландцы в 1729 году гибли сотнями от голода. «Что же, – говорит Свифт, – помочь этому горю не так трудно: пусть бедные родители откармливают хорошенько своих грудных детей и продают их, как дичь, на снедь богатым: детское мясо составит прекрасное кушанье.» Затем он подробно и обстоятельно развивает свою мысль, показывая, какие благодетельные результаты воспоследуют для всех от ее осуществления. Он говорит самые чудовищные вещи, но при этом ни один мускул не дрогнет у него на лице, хотя сердце его горит страстным негодованием. Один французский критик принял «Предложение» всерьез и комментировал его как свидетельство ужасного положения Ирландии. Это – одна из самых убийственных сатир, когда-либо написанных. «Могут ли англичане забыть, что лежит на их совести, – говорит Крэк, – пока они будут читать „Скромное предложение“ Свифта?»

Однако даже необычайная слава борца за народные интересы не примирила Свифта со своей судьбой. Он считал свое пребывание в Ирландии ссылкою и постоянно рвался оттуда. В 1726 и 1727 годах промелькнула надежда на возможность возвратиться в Англию и принять снова участие в более широкой политической деятельности. Свифт посетил Лондон, виделся с уолполом, беседовал с ним о делах Ирландии, о церковном вопросе, причем он неизменно оставался прежним горячим защитником англиканской церкви. Свидание не привело ни к чему. Смерть Георга I еще раз оживила его надежды; оппозиция рассчитывала на удаление Уолпола и на свое торжество – при помощи Хоуард, любовницы нового короля Георга II. Однако все эти надежды скоро рухнули: Уолпол остался еще надолго у власти. Это была последняя поездка Свифта в Англию и последняя попытка его вырвать у судьбы то, что он считал принадлежащим себе по праву гения. Но в то время, когда ему пришлось окончательно расстаться с честолюбивыми мыслями о политической карьере, взошла в полном блеске его литературная звезда: в Лондоне вышли анонимно его «Путешествия Гулливера».

Свифт возвратился в Дублин, «чтобы умереть здесь в бешенстве, как отравленная крыса в подполье». Здесь его ожидал еще один роковой удар:

Стелла была при смерти. Счастие и несчастие этого удивительного гения, глубина его чувств не поддаются общим меркам… Теперь он остался один, с разбитыми надеждами, вдали от друзей, с мучительным сознанием мало понятного для нас, но глубочайшего несчастия в своей личной жизни и с тяжелым предчувствием ужасного конца, который, точно лавина, медленно, но неуклонно надвигался на него. Глядя однажды на дерево с усохшей верхушкой, он сказал: «Смерть так же поразит прежде всего мою голову». Слова эти оказались до некоторой степени пророческими.

Глава V. Свифт как писатель

Общий характер его произведений. – «Сказка о бочке». – «Путешествия Гулливера». – Мизантропия Свифта. – Шутки Свифта. – «Предсказания на 1708 г. Бикерстефа». – «Приличный разговор» —«Наставление слугам». – Бескорыстие Свифта.

Общепризнанная известность Свифта во всем культурном мире держится на его литературных произведениях. Его знают как взрослые читатели, так и дети, – последние, быть может, даже больше. Любопытно, что в то время как дети приходят от него в восторг и восхищение, масса читателей-дилетантов чувствуют себя оскорбленными в своих пустопорожних чувствах и со словами: «Это циник, для которого нет ничего святого» – отворачиваются от него. Но слава и значение писателя устанавливается и определяется, к счастью, не дилетантами. Умы более глубокие, а главное, более искренние, по силе своей искренности родственные великому сатирику, поняли чувство негодования, воодушевлявшее его, и в его беспощадном анализе человеческих недостатков и пороков признали не циническую забаву и человеконенавистничество, а в высшей степени плодотворную и обязательно необходимую работу на пользу прогрессивного развития человечества. Действительно, из уст Свифта вы не слышите, вроде бы, слов любви, – напротив, он изливает на человечество целые потоки злейшего смеха, язвительного издевательства, беспощадного осуждения. И вы с удивлением спрашиваете: что же после этого остается от человечества? Да, для человека, для которого *все* заключается в общепризнанных условностях, традициях, учреждениях и так далее, – для такого человека не остается почти ничего; но для человека, для которого главное – с одной стороны, в идеале общечеловеческого счастья, а с другой – в безустанной борьбе за это счастье, – для такого человека, говорю я, святыня остается нетронутой; напротив, сатира Свифта сметает прочь все, что заслоняет от него эту святыню, и таким образом лишь расчищает путь к ней. Она, эта сатира, обрушивается на человечество, подобно грандиозному ливню, падающему на землю; повсюду образуются бешеные потоки; с яростью они разрушают всякие преграды на своем пути, подхватывают и уносят их; грязь, гадость, отбросы, нечистоты – все, что лежит на поверхности земли, все это неизбежно попадает в поток, растворяемся и делает чистую дождевую воду грязной и мутной. Но ливень прошел, солнце взошло,

природа обновилась. Чувствуете ли вы, какое благоухание распространяется в воздухе?.. Грязь, гадость, отбросы, нечистоты, бешенство, ярость, разрушение… Все это есть и в сатире Свифта, все это составляет ее вполне законное содержание. Но если вы не чувствуете благоухания, то виноват в этом вовсе не Свифт. Это значит, что в вашей душе нет идеала или что он слишком ограничен и ничтожен. Ведь не может же действительно ливень в своих потоках унести солнце…

Настоящая биография, по характеру своему, не имеет целью давать критическую оценку литературных произведений Свифта. Но так как именно они составляют то непреходящее, вечное, что осталось от его жизни, то я вкратце изложу содержание главнейших из них и познакомлю читателя с обстоятельствами их появления. Относительно же литературной критики – два слова. Русская критика вовсе не занималась и не занимается Свифтом, между тем как, по словам Тэна, он так же велик в иронии, как Шекспир в поэзии. А разве с «иронией», содержание которой составляет общественная, и даже больше, вообще человеческая жизнь, критике делать нечего? Это – во-первых, а во-вторых – именно для нас, русских, Свифт представляет большой интерес, так как в его крайностях, в его ненависти ко всякого рода фальши, мишуре, условностям, в его дерзости и бесстрашии, не останавливающихся ни перед какими выводами, чувствуется нечто родственное и понятное нам.

«Сказка о бочке», написанная в самом начале литературной деятельности Свифта (1696), и «Путешествия Гулливера» – под конец ее (1728), составляют шедевры не только его творчества, но и вообще сатирического пера, когда-либо существовавшего. Они дополняют одно другое и в совокупности обнимают все стороны человеческой жизни. В предисловии к «Сказке» Свифт среди прочего объясняет название, данное им своей сатире: она должна была служить для скептических умов, подрывавших тогда основы религии и государства, той «бочкой», которую моряки выбрасывают, чтобы отвлечь внимание кита, угрожающего им гибелью. «Сказка» состоит из посвящения лорду Сомерсу, посвящения принцу Потомству, предисловия, введения; затем идет сам рассказ, прерываемый «отступлениями». Из последних особенно любопытно отступление об оригинальном применении сумасшествия на общественную пользу. Счастье, говорит Свифт, испытывает лишь тот, кто находится в состоянии постоянного обмана. Мудрость, не проникающая дальше внешней поверхности вещей, лучше той, которая назойливо доискивается скрывающейся под внешней оболочкой реальности. «На прошлой неделе, – говорит он, – я видел женщину с ободранной кожей, и вы не поверите, как

сильно это изменило ее наружность к худшему». Лучше удовлетворяться поверхностным пониманием и наслаждаться «ясным и невозмутимым состоянием, чем быть безумцем среди прохвостов». Затем он рассказывает, как можно сделать сумасшедшего человека полезным.

Курциуса, спрыгнувшего в бездну, можно рассматривать и как героя, и как сумасшедшего. Беснующийся, богохульствующий буйный больной Бедлама вполне пригоден для того, чтоб командовать драгунами; а суетливый, горластый, бормочущий бессвязные речи будет как раз на месте в Вестминстере; важного, вечно носящегося со своими мнениями и видящего хорошо лишь в потемках посадите председательствовать в собраниях диссидентов… Да, тут неисчерпаемый сырой материал, из которого могут получиться дельные и выдающиеся администраторы, придворные, полководцы, короли… Мы все – сумасшедшие, и счастливы настолько лишь, насколько сумасшедшие. Чем ближе подходим мы к истине, тем больше убеждаемся, что действительность отвратительна. Таким же образом Свифт бичует науку, разум, издевается над философами, писателями, комментаторами, объявляет, что намерен сам написать «Всеобщую историю ушей», «Панегирик цифре 3» и так далее. Одним словом, самые едкие сарказмы сыплются без счета на все и всех.

Эти отступления прерывают главную нить рассказа – отважное и неотразимое нападение на педантизм и скудоумие, принимающих формы различных теологических систем.

Отец, умирая, оставляет трем своим сыновьям, Питеру, Мартину и Джону, по новому кафтану и в завещании дает подробные наставления, как дети должны обращаться с этой неизнашиваемой одеждой. Некоторое время братья строго исполняют завет отца, но, поселившись в городе, мало-помалу начинают отступать от него, усваивают городские нравы, поддаются обаянию герцогини d'Argent[7], мадам de Grand Titres[8], графини d'Orgueil[9], ведут светскую жизнь, содержат любовниц, дерутся на дуэлях и так далее. Между тем возникает секта, возвещающая учение об одежде как основе всякого бытия, жизни, движения. Братья чувствуют себя в затруднительном положении: в силу отцовского завещания они не могут приспособлять свою поношенную и загрязненную одежду к требованиям моды. И вот они начинают ухищряться в толкованиях завещания и в его сокровенном смысле находят то, что им нужно. Так, например, в моду вошла серебряная бахрома на платье. Братья бросились к завещанию отца и к величайшему своему удивлению прочли там следующие слова: *«Нет*, к этому я строго приказываю трем моим поименованным сыновьям ни под

каким видом не носить *серебряной бахромы* вокруг означенных одежд их». Братья были поражены и опечалены, но тот из них, к которому они часто обращались в затруднительных случаях, так как он обладал лучшей эрудицией и большими критическими способностями, скоро нашелся и заявил, что благодаря открытию, сделанному им у одного из авторов (имени он не станет называть), слово *бахрома*, написанное в завещании, значит также рукоятка метлы, и в этом именно смысле должно понимать его в данном случае. Один из братьев не удовлетворился, однако, таким объяснением, заметив, что эпитет *«серебряная»*, по его скромному разумению, по крайней мере в обыденном языке, не прилагается к ручке метлы; ему ответили, что эпитет этот следует понимать в аллегорическом и мифологическом смысле. Тогда он продолжал возражать: с какой стати наш отец стал бы запрещать нам носить на платьях рукоятку метлы? Такое запрещение представляется нелепым и неестественным. Но тут его тотчас же остановили, так как он отзывался без должного уважения о таинстве, которое, вероятно, было очень полезно и имело глубокое значение. Благодаря таким ухищрениям братья совершенно свободно обходят завещание. Наконец брату-схоласту наскучило придумывать толкования, и он прячет завещание в надежный ящик. С этих пор уже ничто не сдерживает его; он становится все богаче и знатнее, надевает себе на голову разом три шляпы, привязывает к поясу огромную связку ключей и даже заставляет целовать себе ногу. В конце концов братья ссорятся; Мартин и Джон, возмущенные высокомерным обращением Питера и убедившись, что он обманывает их самым наглым образом, бегут от него. Они решаются исправить свои прегрешения и возвратиться к простоте, предписываемой завещанием. При этом Джон в порыве усердия срывает со своего кафтана галуны, бахрому, ленты и другие украшения с таким усердием, что кафтан превращается в одни лохмотья. Мартин оказался благоразумнее: убедившись, что многих украшений нельзя спороть без того, чтобы не разорвать кафтан, он оставляет их. Джон не доволен Мартином, убеждает его поступить более решительно и, когда это не удается, со смертельною ненавистью в сердце оставляет его. Он ни на минуту не расстается с отцовским завещанием и, в конце концов, превращает его во что ему, заблагорассудится: когда он отправляется спать, он делает из него ночной колпак; когда идет дождь, он превращает его в зонтик и так далее. В свой злобе к Мартину Джон обнаруживает готовность даже примириться с Питером; но тут был издан декрет об аресте Питера, и Джон отказался от своего безрассудного намерения. Последующие приключения Джона рассказчик, к сожалению, забыл.

Смысл сказки понятен: Питер – это католицизм; Мартин – протестантизм, англиканская церковь; Джон – кальвинизм, английские сектанты, диссиденты.

В целом, «Сказка о бочке», касаясь различных религиозных вероучений, существующих в Западной Европе, затрагивает глубочайшие чувства человека. Бесстрашно распластывает их Свифт на анатомическом столе и при помощи своего беспощадного скальпеля вскрывает и рассекает один за другим нагноения, болезненные наросты и вообще всевозможные отложения человеческих суеверий. Она написана, когда Свифт не принимал еще горячего участия в партийной борьбе, не был, следовательно, поглощен партийными страстями, и представляет поэтому свободное, не связанное никакими условностями, выражение его действительных мыслей. Впоследствии, когда «Сказке», получившая громадную известность, служила ему большой помехой в устройстве личной карьеры, он пытался было оправдаться, доказывая, что она вовсе не заключает в себе нападок на англиканскую церковь, но вряд ли это так на самом деле. Действительно, Свифт до конца жизни оставался ревностным приверженцем англиканской церкви, но он поддерживал ее просто как полезное государственное учреждение, и в «Сказке» имеет с нею дело как с верованием.

«Путешествия Гулливера» появились 30 лет спустя после «Сказки». Годы эти прошли в деятельной и разнообразной жизни. Свифт приходил в столкновения с массой людей и завязывал с ними более или менее интимные отношения; он до известной степени направлял деятельность государственной машины и потому имел возможность прекрасно изучить силы, приводящие ее в движение. Людей и учреждения он знал теперь до тонкостей, редко кому доступных. Вместе с тем обострилось и его негодование, частью в силу того, что он лучше узнал людей, частью в силу личных тяжелых испытаний и неудач. Таким образом, «Путешествия Гулливера» являются результатом громадной опытности и полной зрелости его сатирического гения. Содержание их шире содержания «Сказки», а негодующий смех – злее, резче, беспощаднее и достигает местами такой высоты, на которой, кажется, гнев пожирает сам себя. «Путешествия» свои Свифт обдумывал в течение долгого времени и писал их постепенно. Первоначально в кругу близких друзей Свифта – Попа, Арбэтнота, образовавших «клуб писак», зародилась мысль написать сообща сатиру в виде мемуаров, осмеивающую педанта, мнящего себя всезнающим. Затея эта не была осуществлена, но она дала толчок Свифту, который и принялся за работу в годы своего «изгнания». В 1726 году он привез рукопись в

Лондон и здесь передал ее издателю секретно, не обнаруживая своего авторства, так как опасался преследования со стороны правительства. Впрочем, ближайшие друзья его, как это видно из переписки, знали раньше о его работе; поэтому секрет, по крайней мере, среди общего круга знакомых, был тотчас же разоблачен. Книга имела необычайный успех; она выдержала подряд несколько изданий. Ею зачитывались все, без различия возрастов, пола, положения. Мало того, – прошло более чем полтора века, но она нисколько не утратила своего интереса, переведена на все литературные языки и стала одной из первых детских книг, несмотря на то, что написана «мизантропом» и притом в отчаянно «мизантропическом» духе. Страшное противоречие, нисколько, впрочем, не смущающее тех, кто толкует о грязном и ужасающем человеконенавистничестве излюбленного детьми писателя.

Мы не станем излагать здесь общей фабулы «путешествий», делающей их для детей столь занимательными, и указывать на особенности слога и тона самого повествования – все это достаточно общеизвестно; мы остановимся лишь на вопросе, каково содержание этой сатиры и какие цели преследует она. Сам Свифт дает вполне определенный ответ на этот вопрос. В письме к Попу он пишет: «Я ненавижу всем сердцем и презираю это животное, именующееся человеком, хотя я горячо люблю Джона, Петра, Томаса и так далее. На такой-то великой основе мизантропии зиждется все издание моих путешествий… Если бы в мире можно было насчитать только двенадцать Арбэтнотов, я сжег бы свою книгу». Подобные же мысли высказывает он и в письме к Шеридану: «Ожидайте от человека не больше того, на что такое животное способно, и вы тогда ежедневно станете убеждаться, что мое описание *йеху* более соответствует действительности, чем это кажется». Затем он говорит, что на каждого человека следует смотреть как на негодяя и относиться к нему как к таковому. Чего же определеннее? Несомненно, Свифт – гнусный мизантроп, а его книга – тяжкое преступление против человечества. Но не торопитесь. Послушайте, что тот же Свифт пишет в прелестном «Письме капитана Гулливера к своему двоюродному брату Симпеону», – письме, приложенном к «Путешествиям». «Вот уже шесть месяцев прошло со времени выхода моей книги, – говорит он с негодованием, – а я не только не вижу прекращения всевозможных злоупотреблений и пороков – по крайней мере, на этом маленьком острове чего я мог ожидать – но не могу даже нигде прочесть, чтобы моя книга произвела хотя бы в одном случае действие, соответствующее моим намерениям!..» Каковы же эти его намерения? «Я ждал, – продолжает он дальше, – чтобы вы известили меня:

прекратились ли партийные счеты и интриги; стали ли судьи более сведущими и справедливыми, защитники более честными и умеренными; изменилась ли всецело система воспитания аристократической молодежи; изгнаны ли врачи; стала ли женщина… более добродетельной, целомудренной, правдивой и разумной; упразднены ли совершенно и сметены ли прочь с лица земли дворцы и приемные залы великих министров, вознаграждены ли по заслугам ум, достоинство и знание; осуждены ли все позорящие печатное слово… на то, чтобы питаться только бумагой и утолять жажду только чернилами? На эти и тысячи им подобных преобразований я сильно рассчитывал… действительно, *все они составляют прямой вывод из правил, преподанных в моей книге»*. Прилично ли мизантропу говорить такие слова? Не показывают ли его «тысячи» всевозможных преобразований, что он – величайший оптимист? Но как же примирить все это с его собственными словами о ненависти к людям – о мизантропии? Во-первых, не подходите к Свифту с обыденными шаблонами: его искренность необычайна; то, что все другие старательно скрывают, он выпячивает изо всех сил на показ каждому; боясь быть недостаточно искренним, он утрирует свою искренность. Во-вторых, Свифт был несомненно глубоко несчастным человеком; я не говорю только о личных несчастиях; муза гнева, saeva indignatio, не дарит ласками и улыбками; естественно, что Свифт с особенной рельефностью и исключительностью подчеркивает все то, что вызывает негодование. В третьих, «мизантропия», как и пессимизм, очень часто является лишь обратной стороной глубокого оптимизма, не только очень часто, – это его, можно сказать, почти неразлучный спутник. Бывают исключительные любвеобильные натуры, но они очень редки. В большинстве случаев, кто сильно любит, тот и глубоко ненавидит все то, что позорит эту любовь. С этой точки зрения мизантропия Свифта не представляет ничего загадочного, и его «Путешествия Гулливера», даже включительно с их омерзительными *йеху*, составляют необходимую дополнительную часть к разным утопиям, это, в своем роде, – утопия, вывернутая наизнанку. И Свифт не мог бы написать их, если бы его не воодушевляла мечта о лучшем будущем человечества.

В первых двух путешествиях – в Лиллипутию (карлики) и в Бробдингнег (великаны) – сатира носит преимущественно политический характер; она полна намеков на современные Свифту события и лица; но вместе с тем она имеет непреходящее и всеобщее значение, так как недостатки, осмеиваемые в ней, вовсе не временного и не случайного происхождения. Здесь развертывается перед вами пестрая картина: короли,

придворная жизнь, интриги, министры, партии, партийные счеты, политические преследования, религиозные распри, войны, наконец, вообще нравы, – всему этому дается надлежащая оценка. Много злобного смеху – но еще больше веселого, забавного юмора. Обыск Гулливера, тушение пожара во дворце, обвинительный акт против Горы-человека – все это неподражаемо. В Бробдингнеге тон становится серьезнее; политика занимает все еще главное место; король великанов, воплощение бесстрастно справедливого, народолюбивого короля, выслушав пересказ Гулливером истории Англии, замечает, что «история эта есть ничто иное, как масса заговоров, смут, убийств, смертей, революций и ссылок, и всего хуже, что все это является следствием жадности, партийности, лицемерия, вероломства, жестокости, ярости, ненависти, зависти, разврата, злобы и честолюбия». Суждения короля Бробдингнега и особенно коня-гуингнгма (в четвертом путешествии) во многом напоминают взгляды первых революционеров и их критику политических учреждений.

В третьем путешествии политика оттесняется на задний план; сатира обрушивается, главным образом, на ученых и изобретателей всякого рода; она становится все свирепей и свирепей. Веселого смеху здесь уже не слышно вовсе. Вы чувствуете одно сплошное и безграничное негодование. Свифт берет вас под руку и с полной невозмутимостью показывает вам свою портретную галерею. Вот ученый, восемь лет разрабатывающий «проект извлечения солнечных лучей из огурцов»; вот академик, занятый исследованиями о переработке человеческих экскрементов в те питательные вещества, из которых они образовались; вот физик, подготовляющий трактат о ковкости огня; вот слепой профессор, занимающийся составлением разных красок; вот профессор, разрабатывающий вопрос «о способе пахать землю при помощи свиней»; далее идут астроном, медик и так далее. Затем он переходит в спекулятивное отделение академии Лагадо и снова дает нам образцы ученых по части умозрительных знаний; затем к политическим прожектерам, где знакомит, между прочим, с любопытным проектом о примирении всяких партийных разногласий – следовательно, и об уничтожении крамолы. Для этого по его проекту «берут сотню предводителей каждой партии и распределяют их парами по росту, так, чтобы головы каждой пары находились на одной линии, затем два искусных оператора одновременно спиливают у каждой пары череп сверху до затылка таким образом, чтобы мозг разделился на две равные половины. Тогда, меняя отдельные части, прикладывают затылок с головы одного на голову другого и обратно». Причем он приводил следующие доводы в

пользу своего проекта: «Две половины различного мозга, будучи сложены в одном черепе для решения между ними спорного вопроса, скоро придут к соглашению и произведут ту умеренность и то равновесие мыслей, которые так желательны для голов, воображающих себя призванными стоять на страже общественных движений и руководить ими». Осмеяв настоящее, Свифт принимается за прошедшее и вызывает тени умерших знаменитостей. Затем прочтите его описание приема во дворце Лоньяг: несмотря на всю фантастичность рассказа, вы чувствуете, что Свифт сражается вовсе не с ветряными мельницами… Но, что особенно поражает и производит страшно угнетающее впечатление в этом третьем путешествии, так это – струльдбруги, или бессмертные, в образе которых Свифт подвергает жестокому осмеянию столь свойственные людям желания о бесконечно продолжительной жизни.

Четвертое путешествие, путешествие в страну гуингнгмов (лошадей), представляет сатиру на человечество вообще, – это, как говорит Лесли Стивен, самая лучшая часть книги, самая сильная, но вместе с тем и наиболее тяжелая, наиболее отталкивающая. Действительно, она не оставляет, что называется, живого места в человечестве: все пригвождено к позорному столбу, все оплевано, все утоплено в зловонной грязи… Свифт срывает прочь покрывало скромности и показывает животные элементы человеческой природы во всей их обнаженной наготе; он признает их господствующими в человечестве и воплощает в образе *йеху*. Его собственное душевное состояние в это время совершенно напоминает состояние религиозных аскетов, старающихся возбуждать в себе отвращение к плоти путем сосредоточения своего внимания на разрушающемся, гниющем теле. У аскета есть свой идеал, во имя которого он так поступает, есть он и у Свифта: это – его гуингнгмы. Безграничная ненависть Свифта к гнету и насилию заставляет его рисовать эту мрачную до полного отчаяния картину человеческой низости. Но люди вообще предпочитают, чтобы им больше льстили, чем даже сочувствовали; им больше нравится человек, не замечающий их слабых сторон, чем тот, который видит их и сожалеет и печалится по поводу их». Непримиримая гордыня Свифта, помимо всего другого, никогда ни при каких обстоятельствах не позволяла ему становиться в такие угодливые отношения к людям. «Его неукротимый ум делает его неспособным примириться даже с необходимостью, заставляет бить лбом о стену, без всякой, конечно, надежды пробить ее…» Понятно поэтому, что для большинства людей, мнящих себя настоящими человеколюбцами, Свифт, как прямая противоположность им, представляется воплощенным

человеконенавистником. Но мнить – не значит быть… «Путешествие к гуингнгмам» – это беспредельный гнев, полный скрытой страсти и огня, против жестокости, насилия и вообще животности, присущей человеческой природе.

Из остальных многочисленных произведений Свифта (кроме указанных в предыдущих главах), мы упомянем, за недостатком места, лишь о некоторых. Прекрасным образчиком его шуток могут служить «Предсказания на 1708 г. Бикерстэфа». Некто Партридж занимался изданием календарей и, наполняя их различной чепухой, эксплуатировал суеверные вкусы публики. Это возмутило Свифта; кроме того, представлялся удобный случай осмеять и сами суеверия, различные предсказания, приметы и тому подобное, – и вот он, как астролог, делает ряд предсказаний и, на первом месте, возвещает о смерти 29 марта от горячки издателя Партриджа. «Я советовался, – говорит Бикерстэф, – со звездами дня его рождения, по правилам собственного метода, и убедился, что он неизбежно умрет будущего 29 марта, около 11 часов вечера от жестокой лихорадки; советую ему поэтому обратить внимание на это обстоятельство и привести в порядок свои дела, пока есть еще время». Затем последовало «Письмо», в котором Свифт описывает самую смерть злополучного Партриджа. Когда наступил конец, он чистосердечно раскаялся во всех своих издательских глупостях, указывая в свое оправдание на то, что он иначе не мог зарабатывать себе хлеба; починка же старых сапог давала плохой заработок. Такая, плоская и грубая в устах всякого другого, шутка произвела необычайный эффект, так как она была написана искусной рукой Свифта. Извещению поверили. Книжные торговцы исключили Партриджа из своих списков, а португальская инквизиция осудила памфлет на сожжение. Появился ответ, написанный якобы самим Партриджем, в котором обстоятельно рассказываются все злополучия несчастного издателя, как к нему приходил гробовщик, чтобы справиться, какой гроб делать, как друзья укоряли его, что он скрывает свою смерть от них, как он слышал звон на свое погребение и так далее. Это только подлило масла в огонь. Патридж стал серьезно, с досадою возражать и доказывать, что он жив. Тогда Свифт ответил новой шуткой. Партриджу, говорит он, следовало бы быть несколько воздержаннее в своих выражениях, так как предмет его спора относится к вопросам умозрительного, чисто теоретического характера. Партридж отрицает свою смерть, но все свидетельства говорят против него. Тысячи читателей его альманаха заявляют, что живой человек ни в каком случае не мог бы написать подобной ерунды. Во-вторых, даже его жена, и та ходит по

улицам и «клянется, что у ее мужа нет ни жизни, ни души… Если же невежественный труп продолжает бродить между нами и если ему угодно называться Партриджем, то г-н Бикерстэф не считает себя нисколько в том ответственным…» Затем следует в-третьих, в-четвертых и так далее.

Такова шутка Свифта. «Если ему встретится смешное, – говорит Тэн, – он не касается его ради забавы, – но принимается изучать: он серьезно углубляется в него, овладевает им вполне, узнает все его свойства, все оттенки… Шутка Свифта, в сущности, есть ничто иное, как отрицание посредством вполне систематического абсурда… В его смехе слышится что-то гробовое…»

Из последних произведений Свифта упомянем о «Приличном разговоре» и «Наставлениях слугам». В первом он дает прекрасную коллекцию бессодержательных фраз, в говорении которых люди проводят целые часы; а во втором обнаруживает замечательное знание прислуги и ее нравов. Какой бы сферы ни коснулся Свифт, он повсюду является господином занимаемого им положения и обнаруживает удивительное всезнание.

В литературной деятельности Свифта есть еще одна замечательная черта, которую нельзя обойти молчанием. Это полное его бескорыстие: за исключением «Путешествий Гулливера», доставивших ему 200 фунтов стерлингов, он ни за одно из остальных своих произведений не получил ни гроша и совершенно не заботился об этом. А между тем его памфлеты расхватывались моментально, выдерживали подряд по нескольку изданий, приводили в смятение министров, возбуждали страсти целого народа… Немного найдется писателей, обнаруживших такой полный индифферентизм к извлечению материальной пользы из своей литературной славы. Да и о славе этой Свифт заботился мало: все его произведения появлялись анонимно; в некоторых случаях это, правда, вызывалось опасениями преследования, но таких случаев было, собственно, немного; кроме того, Свифт не выставлял своего имени даже тогда, когда опасения оказывались напрасными и произведение его выходило вторым изданием. Нельзя не признать, что он и в этом отношении представляет оригинальнейшее явление в литературе: гений первой величины, имевший такую массу читателей, как, быть может, никто другой в его время, он все свои произведения, от первого до последнего, печатает анонимно и не приобретает на них не только состояния, но просто – ровно ничего.

Глава VI. Последние годы жизни

***Свифт после смерти Стеллы. – Свифт как декан. – Широкая благотворительность. – «Vive la bagatelle». – Смерть близких друзей. – Страдания Свифта. – Потеря памяти и речи. – Учреждение опеки. – Смерть. – Заключение*.**

Пока была жива Стелла, в доме декана собирались по воскресеньям многие из интеллигентных и образованных жителей Дублина и проводили время в оживленных и остроумных беседах, хотя гости не всегда оставались довольны слишком уж экономным угощением своего хозяина. Но со смертью Стеллы все переменилось. Свифт становился все мрачнее, угрюмее, раздражительнее, невыносимее. Его скупость превращалась в мономанию; случалось, что он жалел бутылки вина, чтобы угостить своих друзей. Головокружение и глухота стали теперь его неразлучными спутниками. Прежде он читал много, в особенности по истории, перечитывал классиков, развлекался даже математикой, – но теперь принужден был все забросить, так как глаза его испортились, а носить очки он, по какому-то предубеждению, не хотел. Однако болезнь не так-то скоро могла сломить железную волю этого человека; он упорно боролся. Со смерти Стеллы прошло целых 12 лет, прежде чем он лишился рассудка, и над ним назначена была опека.

Свои обязанности декана Свифт продолжал исполнять до конца ревностно и неослабно. В особенности упорно он воевал с епископами, отстаивал свои права и привилегии и тем вызывал у одних чувство глубокого уважения, а у других – досады и раздражения. Он поносит епископов за то, что они дали свое согласие на два гнусных билля, направленных против духовенства, и говорит, что решил не поддерживать более никаких отношений с лицами, непомерно напыщенными: «Они, чего доброго, захотят в скором времени, чтоб я целовал их туфли». Этот странный священник избегает заглядывать в карету, чтобы не увидеть там такой фигуры, как епископ, один вид которого поражает его ужасом. По его теории, английское правительство назначало епископами в Ирландию всегда замечательных богословов, но на пути с ними случалось необычайное несчастие: разбойники с большой дороги убивали их, завладевали их бумагами, облачались в их платье и затем являлись в Ирландию и преспокойно занимали их места. Но вместе с тем он ревностно совершал службы, наставлял молодых священников, заботился о

церковном хоре, поддерживал в лучшем виде здание собора и радел о церковных доходах.

Несмотря на общеустановившуюся репутацию скупого человека, Свифт занимался широкой благотворительностью. Дилени говорит, что он охотнее отдавал пять фунтов, чем какой-нибудь богач пять шиллингов. Бедные в его приходе пользовались большим вниманием и лучшим положением, чем где-либо в другом месте. Он помогал не только в случаях безысходной нищеты. Мелкие торговцы и ремесленники находили у него легко доступный кредит. Первые же 500 фунтов, какими он располагал, он употребил на это дело, образовав из них специальный фонд и разделив их на мелкие доли, которые и выдавались в ссуду сроком на неделю. Рассказывают, что таким образом он дал возможность встать на ноги и устроиться более чем 200 семьям. В Дублине у него был целый «сераль» обнищалых старых женщин; он обыкновенно добродушно здоровался с ними, расспрашивал о делах, покупал им разные безделушки и всех их наделял особыми именами. Затем идут личности, родственники и неродственники, которым он выплачивал из своих средств ежегодные пенсии в 20 фунтов и больше. Таков был этот «скупец». Он доводил до минимума свои личные расходы не для того, чтоб копить и богатеть, а для того, чтобы иметь развязанные руки и быть в состоянии помочь там, где он находил нужным. Кроме денежной помощи, он оказывал поддержку многим лицам своими ходатайствами перед лицами, власть имущими. В этом отношении Свифт, по-видимому, никогда не стеснялся и не испытывал того ложного опасения скомпрометировать себя, которое так часто мешает человеку оказать услугу другому. Среди его знакомых было много людей, занимавших видное положение в Ирландии и в Англии, поэтому просьбы его нередко оканчивались благоприятно для заинтересованных лиц. Однако ему приходилось попадать иногда и в неловкое положение: люди, подобные ему, легко становятся добычею всякого рода льстецов и обманщиков. Но во всяком случае, тот, кто знает Свифта с этой стороны, с удивлением будет слушать россказни о его «человеконенавистничестве».

Годы шли, болезнь совершала свою разрушительную работу, настроение падало все ниже и ниже. «Самое лучшее общество в Дублине, – говорит он, – еле выносимо, и те, кого раньше можно было еще терпеть, теперь стали несносными». Он не замечает, что несносными становятся вовсе не другие, а он сам. Он начинает вести уединенную жизнь: обедает один и потом уединяется в кабинете и просиживает до 11 часов, а затем идет спать. Он мало читает, зато много пишет всякой дребедени, пишет и

сжигает. Как бы в противоположность надвигающемуся мраку и отчаянию, он с особенным усердием развивает свою излюбленную тему: «Vive la bagatelle!»[10]. В таком роде все его «серьезные философские элокубрации». С немногими друзьями, в особенности с Шериданом, он постоянно обменивается смешными, вздорными пустяками. Выше мы видели, как в Свифте мизантропия соединяется с филантропией, в широком и узком значении этих слов; теперь мы имеем другое подобного же рода соединение в его личности двух внешне противоречивых особенностей: saeva indignatio и vive la bagatelle уживаются в одном и том же человеке. Не странно ли в самом деле: желать смерти, прощаясь с другом, говорить ему: «Доброй ночи, надеюсь, что мы уже никогда не увидимся больше с тобой»; оплакивать и проклинать, как страшное злополучие, день своего рождения и в то же время говорить: «А все-таки я люблю la bagatelle (пустяки, вздор) больше, чем когда-либо…» Лесли Стивен совершенно справедливо замечает, что следовало бы сказать не «все-таки», а «поэтому»: вздорные шутки служили еще единственным спасением от овладевавшего им безысходного уныния.

Смерть близких друзей – Конгрева, Гея, Арбэтнота, болезнь Попа – все это ложилось крайне тяжело на разбитое уже смертью Стеллы сердце Свифта. Если бы ему пришлось начать новую жизнь, говорит он, то он никогда не решился бы водить дружбы ни с бедным, ни с болезненным человеком. «Я прихожу к тому заключению, что скупость и черствость сердца – вот два качества, доставляющие человеку наибольшее счастье…» Смерть Арбэтнота «поразила его в самое сердце»; отлетел дух, говорит он, воодушевлявший остальных, и так далее. В течение пяти дней он не мог распечатать письмо, в котором сообщалось о смерти Гея. Попу он пишет самые трогательные письма: «У меня не осталось теперь никого, кроме Вас…», изливается ему в своей горячей привязанности, называет его «самым дорогим и почти единственным верным другом»…

В 1736 году Свифт уже пишет: «И годы, и болезнь разбили меня окончательно; я не могу ни читать, ни писать, я потерял память и утерял способность вести разговор. Ходить и ездить – вот все, что осталось мне теперь в удел». Смерть была еще не близка; но роковой удар, лишивший его разума, был уже занесен над головой.

В 1738 и 1739 годах он еще продолжал бороться против своей судьбы; это были годы самых жестоких и самых продолжительных страданий. Чтобы избавиться от душевных мук, заглушить жгучую боль, он усиленно начинает предаваться физическим упражнениям, безостановочной ходьбе. Скоро он превратился в ходячий скелет, от него остались лишь кости да

кожа, он не мог уже выходить из своего дома; тогда он принялся шагать по пустым комнатам, подыматься и спускаться по лестнице. Казалось, что он больше всего страшился впасть в старческое расслабление и потому старался искусственным образом растратить жизненную энергию и приблизить неизбежный конец. Но усилия были тщетны: вместе с телом страдал и дух. Он должен был испивать чашу своих страданий капля за каплей. В 1740 году он уже почти не может выносить присутствия посторонних лиц, к смертельной тоске и унынию присоединяется потеря или, вернее, расстройство памяти. Он пишет: «Прошлой ночью я чувствовал себя опять крайне тяжело, а сегодня я снова совершенно ничего не слышу; страшная тревога овладевает мною опять. Я так отупел и так расстроен, что не могу Вам выразить, какая смертельная скорбь терзает мое тело и мою душу. Я еще не в агонии, но жду ее ежеденно и ежечасно, вот все, что я могу сказать… Я почти не понимаю ни одного слова из того, что пишу. Я уверен, что дни мои сочтены: немногие жалкие дни!..» – и подписывается под письмом: «На эти немногие дни остаюсь всецело преданный Вам»; затем приписывает еще: «Если не ошибаюсь, сегодня суббота, июля 26, 1740 г.».

С каждым днем Свифт терял память все более и более. Он искал утешения в молитвах, но одна только молитва Господня сохранилась в его памяти, и он ее беспрестанно твердил. Его поведение становилось совершенно невыносимым. Никто не мог показаться ему на глаза, и приходилось иногда следить за ним издалека, так, чтобы он не замечал. Он обедал один, целыми часами оставался у него в комнате обед и убирался часто нетронутым. Наконец, в 1742 году над ним была учреждена опека. Опасались, чтобы он не наложил на себя руки. Нарыв на глазу, вызванный общим воспалительным состоянием организма, причинял ему нестерпимые боли; требовалось пять человек, чтобы удержать этого семидесятитрехлетнего старика, находившегося в медленной предсмертной агонии, порывавшегося вырвать глазное яблоко. Воспаление прошло. Свифт погрузился в полную апатию и молчание. В таком состоянии он прожил еще три года. Теперь его с трудом можно было убедить подняться с кресла и пройтись. Он снова пополнел, и его лицо, принявшее почти по-детски наивное выражение, странно выглядывало из-под густой шапки белоснежных волос. Спокойствие и мир – но неподвижное спокойствие, но мертвенный мир – снизошли наконец на измученное тело и душу гордого страдальца, потерявшего ум, речь, но никогда все-таки «не говорившего бессмыслицы и безумных вещей». Казалось, он узнавал еще своих старинных друзей; временами видимое раздражение овладевало им, – он

хотел что-то сказать, но не мог, и у него вырывались слова: «Я дурак» или «Я то, что я есть». Глядя на себя в зеркало, он жалостно произносил: «Бедный старик…»

Он умер 19 октября 1745 года. Когда весть о его смерти разнеслась по Дублину, народ целыми толпами устремился к деканскому дому, чтобы взглянуть в последний раз на того, кто был в течение 25 лет его идолом и полновластным диктатором, попросить его волос на память. Оставшиеся после него деньги, 12 тысяч фунтов, он завещал на устройство приюта для помешанных и неизлечимых.

Так, в мучительно тяжелой агонии закончилась жизнь этого необычайного гения —необычайного человека. Страстность и холодная серьезность, цинизм и нежность, свирепый гнев и преданная дружба, язвительный сарказм и шутливый юмор, ненависть ко всякого рода неискренности, ненависть к тирании, необычайная мощь, гордость, наконец, предрассудки – все замолкло навеки. Но слово, сказанное гением, не умирает, и страстный протест Свифта против гнета, насилия и лжи, во имя свободы, независимости и искренности, будет вечно будить совесть людей и внушать отвращение к звероподобному существованию.

В заключение, быть может, спросят, какое же место занимает этот странный и непонятный ум среди добрых гениев человечества? Ответим на это словами Тэна. «Свифт, – говорит он, – был великий и несчастный ум, величайший в классическом веке и несчастнейший в истории, англичанин до мозга костей, вдохновлявшийся и погибавший вследствие избытка своих английских качеств, сообщавших ему всю глубину желания, составляющую основную черту этого племени, всю непомерную гордость, которую запечатлела в нации привычка к свободе, превосходству и успеху, всю основательность положительного ума…» Не знающий радостей жизни, вечно терзаемый то физическими, то нравственными страданиями, преследуемый врагами и судьбою, он достигает необычайной высоты, «с которой, по оригинальности и силе своего творчества, представляется равным Байрону, Мильтону и Шекспиру, выражая чрезвычайно рельефно дух и характер своего народа…»

Источники

Русская литература крайне бедна по части биографических сведений о Джонатане Свифте и критической оценки его произведений. Кроме различных руководств по истории литературы, которые отводят обыкновенно несколько страниц знаменитому сатирику, я могу указать лишь на следующие статьи:

1. *Джеффри.* Биография Свифта (перевод с английского). – «Библиотека для чтения», 1858, № 7.

2. *А. Веселовский:* Дж. Свифт, его характер и сатира. – «Вестник Европы», 1877, кн. 1.

3. *А. Островинская:* Искры Божии. Биографические очерки для детей.

4. «Путешествия Гулливера», с биографией и примечаниями *Уоллера.* Изд. Кушнерева.

Есть еще перевод и такой капитальной вещи, как «Развитие политической и гражданской свободы Англии в связи с развитием литературы» *Тэна.*

Настоящее жизнеописание составлено по следующим английским биографиям:

1. The Life of Jonathan Swift, by *Henry Craik.* (Крэк воспользовался материалами, собранными Форстером для задуманной им обширной биографии Свифта в трех томах, оборвавшейся, к сожалению, на первом томе со смертью автора).

2. Swift, by *Leslie Stephen.* (Принадлежит к серии, издаваемой Джоном Марлеем под заглавием: «English Men of Letters»).

3. The leaders of public opinion in Ireland, by *Hartpole Lecky.*

---

notes

Примечания

1

образ жизни *(лат.)*. *Прим. ред.*

2

Cadenus – анаграмма Decanus. *Прим. авт.*

3

ни стыда, ни совести *(фр.). Прим. ред.*

4

начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 году *(лат.) Прим. ред.*

5

в полном составе *(лат.)*. *Прим. ред.*

6

самоуправление *(англ.)*. *Прим. ред*.

7

Богатство *(фр.)*.

8

Знатность *(фр.)*.

9

Гордость *(фр.)*.

10

«Да здравствует чепуха!» *(фр.)*. *Прим. ред.*